

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## МОЛИТВА

### 1

Зазвонил телефон.

Прежде чем поднять трубку, Евгений Степанович перекрестился. В последние годы он всегда крестился, когда раздавался телефонный звонок, и это было естественнее, чем, скажем, креститься, как в старину, при ударах грома.

Женский голос в трубке невнятно пробивался сквозь шум и потрескивание, казался далеким и в то же время испугал чем-то опасно знакомым — тембром, интонацией, настойчивостью, соучастным напряжением тревоги.

— Да! Слушаю! — крикнул он, чувствуя, что слушать этот голос ему не хочется. Но, как и во многих других случаях, делая не то, что хочется, а то, что как бы надо, он налаживал и этот разговор, повторяя: — Слушаю! Говорите громче!

— Женя!..

Голос осекся. А у него внутри всё так и замерло и похолодело. По имени к нему могла обратиться только жена, но это была не она, да еще две женщины, которые уже давно перестали позванивать, потому что уехали навсегда. Одна — в Эстонию, другая — в Читу. Но звонок-то был местный, не междугородный и не международный. И, значит, звонили откуда-то из далекого прошлого, когда он был Женей для многих, как и для той, что настойчиво пробивалась к нему сейчас уже не сквозь шум и помехи, а сквозь толщу лет, — для первой своей жены.

— Это я, Лена! Мать Вадика! Вспомнил?

— Да, да! Конечно! — заторопился он, потому что и без напоминания сразу подумал о сыне, о котором совсем ничего не слышал вот уже года три, но не беспокоился, а лучше сказать — успокоился, считая, что он за границей, где-нибудь в Европе или в Америке, что было бы естественно для эстрадного певца и музыканта, уехавшего со второй женой, при-

личной эстрадной певицей, из этой дыры, чтобы заниматься эстрадным пением так, как этим занимаются уважающие себя профессионалы.

— Женья!..

Голос снова осекся, и ему стало страшно от того, что она может вот сейчас сказать о Вадиме... Или о себе... О таком, что и в голову не придет... — о чем-то невыносимом и непоправимом. Он даже дыхание задержал, приготовившись услышать это. Но она сказала самое естественное, откладываящее удар и тем его ослабляющее:

— Нам надо встретиться, слышишь? И поскорее! Когда сможешь?

— Да хоть сейчас! — он покосился на часы — было начало третьего, перерыв уже закончился, можно встретиться рядом, в парке, меньше вероятность столкнуться с сослуживцем или знакомым.

— Хорошо! Подъеду минут через двадцать. Выйду на остановке у кукольного театра. Подходи туда.

— Только не на остановке. Лучше — в парке. В аллее классиков. Но не в начале, а в конце ее...

— Понятно. Еду.

Он растерянно положил трубку. По крайней мере, еще двадцать минут отсрочки у него есть. А потом произойдет что-то такое, что нынешнюю, им без того рваную, нервную, изнуряюще-тревожную жизнь еще ухудшит, поранит, травмирует — ничего другого встреча с ней, с первой женой, принести не может. И, значит, надо настраиваться на худшее. Надо готовить себя не только выслушать всё, что предстоит услышать, но и — перетерпеть всё, что наверняка понадобится перетерпеть.

## 2

Он сразу, издавдалека узнал ее. Она медленно и как бы неуверенно шла навстречу по боковой безлюдной аллее — в черном плаще, в черных очках и, даже, кажется, темная косынка была повязана на шее. И он опять испугался: не случилось ли чего с Вадимом, жив ли он? Да жив! Конечно, жив! Не так бы она позвонила, если бы вообще позвонила. Не стала бы договариваться о свидании. И уж, понятно, не приближалась бы в такой напряженной неуверенности, как бы опасаясь, что он в последний момент то ли свернет в сторону, то ли, ускорив шаг, пройдет мимо, замкнуто отчужденный, как делал всегда, когда случайно сталкивались они в городе за двадцать пять лет развода.

Он двинулся ей навстречу, хмуро буркнул «здравствуй!», она как-то слишком громко откликнулась на приветствие и, не снимая очков, заметно волнуясь, огляделась вокруг.

— Идем туда... На те скамейки.

— Пошли.

Он смотрел прямо перед собой, всё так же хмурясь, ожидая начала тяжелого разговора. И в то же время разглядывал ее — такую, какую только что как бы сфотографировал взглядом. Неожиданно и непоправимо постаревшую, похудевшую и подурневшую, с сильной седinou в незавитых и неухоженных волосах. С дрожью в губах, с подергиванием мышц слишком рано дряхлеющей шеи. И однако, вопреки ожиданию, без признаков привычного изнуряющего вызова что-то ему доказать, в чем-то с ним мстительно и с торжеством рассчитаться.

— Как Надежда Андреевна? — спросила она о бывшей свекрови, которая своей любовью к первому внуку была и к ней, первой невестке, привязана трудными, многострадальными отношениями. Спросила, явно поглощенная чем-то другим, — чтобы не начинать, пока не подошли к скамейкам, главного разговора.

— Она умерла...

Он еще больше нахмурился, наклонил голову, сосредоточенно следя, как ступают по асфальту его ноги в черных брюках и желтых туфлях. — Умерла в прошлом году. В конце лета.

— Господи! — она всплеснула руками, приостановилась. — Что же не позвонил, не сообщил?

Он пожал плечами, стараясь не смотреть в ее черные очки.

— Не до того было. Все разъехались, остался один. Мама долго болела. В последние месяцы перестала меня узнавать. Да и про себя всё забыла. Даже имя свое. Страшное дело.

— Вот так и бабушка моя! — понятливо закивала головой Лена. И этим соединением своей бабки с его матерью, этой поспешной понятливостью как-то отвела трудную тему в сторону. Чтобы, похоже, больше ее не касаться. Он догадался об этом с облегчением, ведь разговор наверняка вылился бы в упреки и укоризны, отвечать на которые было бы бессмысленно, а выслушивать их — больно и обидно. Тем более, что за последние годы она, бывшая невестка, ни сама жизнью бывшей свекрови не поинтересовалась, ни сына не заставила навестить бабушку или хотя бы ей позвонить. А ведь старушка, даже погружаясь в страшное прижизненное инобытие, только о нем, о внуке с немеркнувшей ясностью и вспоминала.

Они подошли к скамейкам — к одной, более затененной, подальше от парочки, успевшей насорить вокруг себя семечками, популярными ныне не меньше, чем в незапамятные годы Войны и послевоенного лихолетья. Евгений Степанович покосился на оказавшуюся рядом с ним у края лавки урну — от нее при набегавшем с этой стороны ветерке тянуло окурками. Он было хотел предложить перейти в другое место или не садиться вообще, что было бы наилучшим вариантом... Но тут Лена заговорила, ошеломив его первыми же словами.

### 3

— Решила обратиться к тебе. Больше не знаю, что делать... Сын превращается в алкоголика.

Голос у нее срывался, она то прижимала руки к груди, то приподнимала черные очки и вытирала под ними платочком слезы. А он потрясенно молчал, уставившись в землю, даже не пытаясь следить за ее рассказом, сразу поверив самому страшному. Значит, не удержался, не устоял, не обошел стороной или хотя бы по краю беду, столько несчастий принесшую самому Евгению Степановичу и всему их роду-племени. Господи, отчего же не миновало сына это проклятье? Ведь казалось, не липнет к нему зараза, хоть и втянулся он в жизнь музыкантов-лабухов с их веселой работой на вечерах, в ресторанах, на свадьбах и юбилеях. Помнится, покойная мама больше всех боялась, чтобы любимый внук не соблазнился и не развратился легкой выпивкой. И пыталась его, и расспрашивала его об этом — в те годы он еще заезжал к деду с бабкой, чтобы расслабиться в атмосфере обожания и беззаветного радушия... Мама потом с гордостью рассказывала Евгению Степановичу, что внук умеет и уклониться от угощений, и выплеснуть под шумок из своего стакана в чужой, и вовремя сбегать в туалет, освободить желудок, если все-таки обстоятельство заставят глотнуть лишнего. Но главным потрясением было все-таки то, что сын — здесь, что, оказывается, никуда не уехал. А ведь еще пару дней назад, беседуя о проблемах нацменьшинств с румынским и венгерским журналистами, Евгений Степанович, мучительно подбирая английские слова, не без вызова сообщил, что одна его дочь — в Риге, другая — в Чернигове, а сын — в Германии. Откуда он это взял — про Германию? От мамы, которая года за два до смерти, когда о ее прогрессирующем склерозе еще не догадывались даже врачи, вдруг стала рассказывать с множеством убедительных подробностей о том, как Вадим приезжал к ней прощаться перед отъездом за границу. Евгений Степанович всегда подозревал, что эта красиво-сентиментальная история придумана самой мамой — таким вот образом расстававшейся с надеждой когда-нибудь увидеть внука, который после смерти деда со-

всем забыл дорогу в домишко, где любили и баловали его и в детстве, и в юности, и в молодости — пока было сил и здоровья...

Сейчас-то Евгений Степанович видел, что придуманное мамой прощение было на самом деле — прощением, отпущением внуку греха забвения — в последнем усилении разума, чувства, воображения на той роковой ступени спуска, за которой стремительно последовали страхи и ожесточенность обостренной мнительности, погружение в мир видений и кошмаров, впадение в детство... И, напоследок, недели за две до смерти, неожиданный и поразительный мамин рассказ о том, как ранним утром, на заре, убежала она, босоногая девочка, в росные луга ловить норовистую белую лошадь...

Но почему же он, недоверчивый и дотошный Евгений Степанович, поверил в это прощение и в отъезд сына с какой-то певицей, оставившей мужа-танцора и оторвавшей Вадима от его хорошей, умной и доброй жены? Ну, конечно, потому, что хотел в это поверить, поскольку таким образом надолго, если не навсегда, освобождался от безысходного чувства вины перед сыном за свое неучастие в его жизни, свою отстраненность от его судьбы.

И вот теперь, понимая, что всё возвращается, и притом — тяжелее и как бы в нарочно изуродованном виде, Евгений Степанович с горечью изнурительного бессилия ощутил свою неспособность хоть чем-нибудь воспрепятствовать этому возвращению.

#### 4

— ...но особенно пошатнулся, как ушел от нее, от певицы, и к Любе вернулся. И, представь, Люба его назад приняла. Удивительный человек! Правда и то, что нет у нее кроме него на свете никого — мать умерла, отца схоронила... Но... Мне ведь и певица нравилась. Показалось — она из Вадима настоящего мужика сделает. Она — постарше его... А красивая! Но — как это говорят — роковая. Да, да, никак ее забыть не может. Петушится, отмахивается, но она у него, как заноза, в сердце. Не оттого ли он и махнул на всё рукой?

— Почему же он с певицей не ужился? — зачем-то спросил Евгений Степанович.

— Я и сама толком не пойму... Они ведь так удачно съездили в несколько круизов — пели для туристов на корабле, в ресторане... А потом он ушел от нее, а она так одна и уехала... Кажется, в Германию. Подцепила какого-то немца... Я думаю, не мог он приятелям противостоять. У них там, у музыкантов — каждый день веселье...

Ах, как он всё понимал, как всё ему было знакомо. Даже сейчас, подавленный услышанным, он невольно внутренне затрепетал от неизбывной влюбленности в музыку и музыкантов, в их увлекательно-беспорядочную жизнь, которая притягивала его в молодости так, что он не раз был готов всё бросить и пойти в эстрадный ансамбль кем угодно, хоть грузчиком, хоть прачкой, только бы приобщиться к этому пленительному грешному миру. Он даже договорился с худруком районного дома культуры, и — сбывлась мечта идиота, взяли его в эстрадный ансамбль на фортепьяно, хотя он всего-то и брэнчал парочку модных песен, подобранных на слух и только-только начал понемногу в нотах разбираться. Было ему тогда уже года двадцать четыре, а он точно с ума сошел — всё свободное время торчал в ДК за роялем, разучивал аккорды своего ритмического аккомпанемента, Трудно сказать, чем бы всё кончилось, может быть, ждала его судьба, похожая на судьбу сына. Но в самом разгаре репетиций, когда у него, наконец, что-то стало получаться, попал он у себя на заводе правой рукой в шестерни станка. И хотя травма оказалась не тяжелой, но — пожизненной, от рояля он отказался навсегда. И вообще, веря в пророческие знаки, посчитал, что этой травмой провидение закрывает ему путь ложный, требуя продолжить

поиски другого пути... Какого? Он догадывался, какого. И, значит, по справедливости был наказан за то, что уклонился от этой догадки. Но ведь и вернулся к ней, и свернул на ее путь — ох, как нескоро! Уже без Лены. И без Вадима.

## 5

Теперь Евгений Степанович не удивлялся ничему, что слышал, и даже наперед догадывался о том, что услышит еще. Знала об этом — то есть, о том, что Евгений Степанович всё полностью представляет, — и Лена. Она всё же успела увидеть и пережить с ним немало такого, о чем невольно напомнила сейчас своим рассказом. Ну, а самая черная полоса, за вычетом той части, что осталась в Москве, всей сокрушительной тяжестью обрушилась, как дом во время землетрясения, на бедных его родителей — на отца и, конечно, на мать. Это когда он после трех лет занятий в «Бауманде» вернулся назад в свой городишко — больным, издерганным, бредящим стихами и разоблачениями преступлений культа личности. А еще он с упоением пел под гитару новейший репертуар песен и романсов, при случае брэнчал на пианино, чему научился за три месяца пребывания в больнице. Ну и, конечно, был длинноволосым, в узких брюках, гордился тем, что исключен из комсомола и — говорил, говорил... то о неизбежном крахе тоталитаризма, то о свободе самовыражения, то о бессмысленности собственной жизни. Бывали, впрочем, хмельные часы удивительного подъема, почти счастья от ошеломляющего ощущения красоты и полноты жизни, любви, искусства. Тогда казалось: всё, что омрачало и портило жизнь, наконец-то отброшено напором невообразимых сил — поднимающихся в душе, вскипающих сознанием безграничности доступных возможностей. Да, это были праздники. Настоящие, всеохватные, распахивающие двери и окна тесной, грязноватой, подслеповатой повседневности — сладкому ветру свободы... Но праздники кончались жестоким похмельем, уничтожающим чувством стыда и унижительного, позорного бессилия. И всё чаще уже не встреча с праздником, а странная потребность в истязании тоской и безысходностью заставляли искать и находить известное безотказное средство. А оно с каждым глотком всё приближало и приближало к той пропасти, что безгранично и пусто зияет за чертой смысла. И уже непонятно было, какая малость удерживала, чтобы не шагнуть с ее края. Надежда? Страх? Неуверенность? Ожидание какой-то перемены в себе? Всё это было, но было и другое: крепнущая догадка о том, что ему — какой он есть — жить не обязательно, а, может быть, даже и не нужно. Догадка требовала времени, чтобы укрепиться в ней и на что-то решиться. И время шло, и каким-то тяжелым осенним вечером он вдруг ощутил: пора. Оставив собутыльников, торопясь, вернулся домой, где кстати ничего не было, так что можно было спокойно, не чувствуя ни боли, ни страха — ничего, кроме сосредоточенного любопытства — несколькими глубокими порезами бритвы вскрыть вену у запястья левой руки и опустить руку в теплую ванну.

Мама словно чувствовала беду — так рвалась домой с партсобрания, где какое-то письмо читали, отпросилась все же под немислимими предлогами, успела и домой прибежать, и скорую вызвать, и руку сыну перетянуть пестрым китайским галстуком, который у него с шеи сдернула.

А когда через пару дней вернулся сын из хирургии тихий и пристыженный, полный желаний искупить свой грех послушанием, то, не споря, согласился с родительским ультиматумом: «Хватит бегать. Женись и остепеняйся».

Тогда и вошла в его жизнь Лена, второкурница медицинского училища.

— Слушаешь меня, а сам, наверное, думаешь, зачем я тебе это рассказываю? Всё понимаю, ни о чем не буду просить. Просто не знаю, что мне делать. Я в таком отчаянии, что иногда — веришь? — готова руки на себя наложить. И только спрашиваю: за что? За что такое несчастье?

«И в самом деле...» — Евгений Степанович, стиснув зубы, вспомнил маму свою такой, когда вернулся из больницы: опухшая от слез, отяжелевшая в движениях, она со страхом оглядела его, словно могла увидеть его на костылях или в инвалидной коляске, и не своим голосом, судорожно сглотнув что-то подступающее к горлу, сказала: «Ну, входи... сын». И вдруг улыбнулась ему вымученной, заискивающей улыбкой.

«Ну... входи, сын» — повторил, точно в незаживающей ране ковырнул — Евгений Степанович. И, вздрогнув, глянул на Лену, словно она могла услышать сказанное им про себя. Но она говорила и, наверное, видела сейчас то, о чем рассказывала... она даже очки темные сняла, чтобы лучше видеть, лицо ее нервно подергивалось, голос вздрагивал, она крутила в пальцах очки и, кажется, что-то в них уже сломала. «Зачем она... Так подробно? — с тоской подумал Евгений Степанович. — Да разве надо меня убеждать, как всё это ужасно, невыносимо, чудовищно? Я об этом знаю. И он наверняка знает. Да и кто же этого не знает? И если, зная обо всем этом, мы ничего не можем изменить, то, значит, дело вовсе не в знании, а в чем-то совсем другом... Глубоко, непередаваемо... никакими словами...»

Евгений Степанович еле удержался, чтобы не застонать. И застонал бы, если бы был один, — как всегда потом стонал, вспоминая этот разговор с Леной. Вспоминая всё, что пережил, перенес, перестрадал, пока слушал о сыне. Об этом родном и чужом человеке, с которым расстался, когда тот едва начинал говорить, и все встречи с которым за два с лишком десятка лет можно пересчитать по пальцам. Но таково было условие Лены, вышедшей замуж и категорически возражавшей против общения Евгения Степановича с Вадимом. И даже регулярно отдавая мальчика родителям бывшего мужа — то на каникулы, то на выходные — она постоянно и с пристрастием следила, чтобы ее условие неукоснительно соблюдалось. Возможно, она бы и уступила, будь сам Евгений Степанович, а главное, его мать с отцом настойчивее и неуступчивее. Но до споров ли с бывшей женой было ему — запоздало решившему начать и действительно начавшему новую жизнь, потребовавшую от него никогда ранее неизведанного напряжения всех сил и всего его времени?

Тут и еще, наверное, была причина — о ней Евгений Степанович стал догадываться много позже, но так до конца и не догадался... поскольку уж слишком мучительной и обидной была бы та догадка. Конечно, его родители — в особенности мама — любили внука так самозабвенно, что страшнее угрозы, чем отказать им во встречах с Вадимом, придумать было невозможно. Но вот что с годами стало казаться еще: не заменила ли, не вытеснила ли у мамы вторая любовь — любовь к внуку — ее первую, израненную испытаниями любовь к единственному сыну? Мама, похоже, и отца, человека примирительного и податливого, умела зарядить своим антисыновним отчуждением: в ее присутствии он сдерживал свою душевную потребность в общении с сыном, его семьей, его детьми от второго брака — тоже ведь своими внуками, а, вернее, внучками, которые быстро разобрались, кого им любить, а кого побаиваться... Отец и из жизни ушел светлее, чем мама. Последние сутки перед последней больницей он провел в доме сына — Евгений Степанович заранее привез его из района, чтобы с утра, не теряя времени, отправиться с ним в пульмонологический центр.

Вечером отцу полегчало, он почти не кашлял. В квартире было уютно, тепло — Евгений Степанович включил дополнительный калорифер. Девочки радостно хлопотали вокруг деда, старшая рассказывала ему что-

то смешное, младшая настойчиво листала у него перед глазами альбом со своими рисунками. Никто и мысли не допустил бы, что всё это — в последний раз, что всё это — прощание, прощание навсегда. Евгений Степанович то и дело заходил к отцу, молча присаживался в сторонке, чтобы не мешать радостному общению старика с внуками. Временами Евгений Степанович чувствовал, как горло у него сжимается, в глазах пощипывают слезы. Тогда он выходил и начинал звонить маме — просто, чтобы услышать ее, рассказать, как у них всё славно, успокоить, насколько возможно... Но дозвониться в тот вечер он так и не смог. То ли на линии повреждение случилось, то ли мама неудачно положила трубку на рычаг. Но связь не срабатывала. Номер не набирался.

## 7

— И знаешь, что меня больше всего пугает? Он стал опускаться. Он ведь чем меня успокаивал? Всегда следил за собой, за одеждой, за обувью. В магазин собирается — как будто на званный прием готовится. «Мама, я слишком себя уважаю, чтобы опуститься!» А теперь? Недавно брел по дождю — вымок, перемазался... Ужас! Падал по дороге — представляешь такое?

И такое, и похлеще такого — всё представлял себе Евгений Степанович, слушая и не слушая, следя и не следя за страшным этим рассказом. И, невольно прикидывая его на себя, понимал, как ему казалось, где и в чем мог бы его сын ухватиться за шанс к спасению от губельной развязки. Но нет, не заговорило еще, судя по всему, в душе у Вадима то, из чего вырастает такой шанс: не очнулся он с окончательным отвержением к себе, делающим невозможным и недопустимым дальнейшее существование в таком вот искалеченном и позорном варианте.

Но в том-то и беда, что не вдруг и не по заказу всё главное к нам приходит, если, конечно, приходит вообще. Уж как притих и как сосредоточился в себе Евгений Степанович после той осенней ночи, когда хирург — пожилая, пережившая блокаду ленинградка, от которой сильно пахло крепким табаком — с участливым и проницательным уважением расспрашивала, накладывая швы на порезанную руку, о его отношении к Симонову и Евтушенко, Маяковскому и Вознесенскому, Шолохову и Солженицыну. С каким ликованием, с каким торжеством счастья вытряхнул он, вернувшись домой, из своих бумаг почеркушки каких-то задумок. Какие планы — один другого смелее и замечательнее — рождались и крепили в его воображении. Каким способным и сильным чувствовал он себя на пороге большой и радостной работы. Как легко ему было обходиться без шумных компаний и пламенной, но пьяно-бестолковой болтовни. Он был сильнее своих слабостей, он был уверен, что справится с ними, даже если подвергнется случайному или намеренному испытанию. Он был свободен от гнетущей душевной тоски — и занят тем, что ему нравилось, влекло, звало. Ему было совестно за всё, что по его вине пережили мать и отец. Он был рад угодить им, послушаться их советов: женился на Лене, устроился заочно на четвертый курс политехнического института. А потом, уже втроем — он, Лена и сын — они перебрались из района в республиканскую столицу, где его приняли конструктором в СКБ нового приборостроительного завода.

Жизнь как будто налаживалась. Лена окончила медучилище и работала в поликлинике. Сам он успешно защитил диплом, на заводе его назначили начальником испытательной лаборатории. Сын большую часть времени проводил у бабушки. Из частной квартиры переехали в «малосемейку».

Жизнь налаживалась. А в душе... — там что-то разлаживалось и рассыпалось, что-то слишком быстро изнашивалось, а заменить это что-то — чем-то другим, какой-то запасной деталью, не получалось, не удавалось.

Евгений Степанович стал опять попивать. То с новыми знакомыми, а то и — такого за ним раньше не замечалось — и вообще один, ради самого опьянения. И хотя не приносило оно прежнего вдохновения и радости, было тяжелым, а порой и скучным, с очень мучительным похмельем, но, несмотря ни на что, тянуло к нему даже сильнее, чем раньше.

И вот еще что. Пожалуй, именно тогда Евгений Степанович впервые неожиданно для себя осознал свое не риторическое, чем-то даже хвастливое, а — вполне заурядное, будничное одиночество... Возможно, осознав его, он в него не поверил, как в нечто невозможное для семейного, работающего в большом коллективе человека. Но открытие состоялось. И что теперь с ним было делать, с этим открытием? Тем более, что если ты одинок, то уж, скорее всего потому, что никому особенно не нужен. И тогда уж никуда не уйти от последнего вопроса: а нужен ли ты самому себе?

## 8

Евгению Степановичу подумалось, что, наверное, пора уже прервать Лену, что-то и своё вставить в ее напряженный монолог, хотя бы затем, чтобы дать ей перевести дыхание. Уж очень безоглядно бросилась она в этот запоздалый рассказ. Как бы не пожалела потом, что слишком много выплеснула в надрыве странной, отчаянной надежды на его, Евгения Степановича, способность как-то помешать неотвратимой обреченности событий. Уж кому, как не ему, знать, что совсем не объяснения и доказательства нужны сыну, — а свой собственный приговор самому себе. Окончательный и бесповоротный. Который выносится на последней черте и потому, наверное, никто об это приговоре не знает и не узнает никогда — такое словами передать невозможно... Ведь это не к людям и не к себе обращение с вопросом «быть или не быть?» И даже не к Богу — с раскаянием и молитвой. А к какому-то последнему проблеску, промельку в душе, к звуку безнадежно тихого голоса, который никогда не слышишь потому, что любой душевный шорох его заглушает. И, наверное, надо смертельно заколечеть на ледящем краю пропасти, чтобы, наконец, его услышать. А услышав — поверить. Потому что не поверить этому голосу нельзя.

Так оно было у Евгения Степановича, потому он и знает, что это такое. Ну, а если бы еще до того, как сам узнал, сам пережил — если бы кто-то ему об этом рассказал — он бы поверил?

Нет, не то. Поверить-то, может быть, и поверил, да ведь — не в этом вопрос, а в том: смог бы он чужое, хотя и понятное, хотя и за живое хватающее переживание воспринять, как свое собственное, безраздельное? И, так восприняв, остановиться у края пропасти и отвернуть от этого края, не сорваться в позорную гибель?

Почему-то кажется Евгению Степановичу, что если бы ему, тогдашнему, повстречался он, нынешний, то жизнь у него, тогдашнего, не пошла бы по самой гибельной кромке, не растратила бы столько сил на самоспасение... И даже не на спасение, а на ясное, повелительное осознание необходимости этого спасения. Ведь в том-то самое изощренное коварство проклятья, которым так мучительно переболел Евгений Степанович и которым, по всему виду, кризисно болен сейчас Вадим, — в том-то это проклятье и заключается, что никак не осознается оно как именно проклятье. И пусть не знаешь ты, кем и за что проклят, — но если осознал, что проклят, и если почувствовал, что нет для тебя ничего страшнее этого проклятья — даже смерти оно страшнее! — тогда только и поймешь, что надо смывать его с себя — заведомо зная, что на это потребуются все оставшиеся дни твоей жизни... и дай Бог, чтобы их еще и хватило!

Вот это и попытался бы он, нынешний, растолковать самому себе, тогдашнему. Но нет, не только такой или подобной встречи у него в жизни



не было, но даже ничего похожего на такое не было вообще. А было совсем другое. В разное время, по-разному, с разными людьми. С мужчинами. С женщинами. Что толку об этом вспоминать? Гордиться нечем, хотя в те годы некоторые встречи складывались, как ему казалось, красиво, а порой и одухотворенно, чуть ли не с творческим подъемом. Теперь-то ясно, в чем оно — страшное свойство даже этих, лучших встреч: в том, что они обессиливали, как бы заранее опустошали то место, где действительно могло бы появиться что-то настоящее, непреходящее. Но если таковы были лучшие встречи, то что же оставалось от многих других — не лучших, тяжелых, стыдных? А то и оставалось, от чего и сегодня провалился бы, если бы мог, сквозь землю. Но ведь не проваливался и не проваливаешься. Почему? Не смог? Не можешь? Не дано?

Вот оно — в самую точку. В самое больное место. В самое невыносимое переживание, которым стала одна из таких встреч. И лучших, и худших. Самая из них последняя. Встреча с Юркой Скомороховым.

## 9

Случилось это ранней осенью, а это время для Евгения Степановича всегда было и остается самым тревожным, самым муторным временем года. Именно осенью он уезжал ночью куда глаза глядят на велосипеде... И представить невозможно, что переживала, не смыкая глаз, его матушка, перебирая до самого утра, до самого его возвращения всё, что неминуемо должно было случиться с ним на темных и страшных загородных шоссеях. Осенью срывался и в далекие поездки — то в Новгород, то в Харьков, то в Хабаровск, не говоря уж об Одессе, куда ездил много раз посмотреть на море и на морские корабли.

Вот и в тот почти жаркий денек на исходе сентября и к тому же в пятницу случайно наткнулся он на старого, еще со школьных лет, своего приятеля Юрку Скоморохова, который как раз выписался из туберкулезной больницы и праздно шатался по улицам провинциальной столицы, коротая время до отхода маршрутного автобуса в свой районцентр. Замечательно совпали настроения и желания у старых приятелей, только вот развернуться было не на что: скудной записки Евгения Степановича хватило лишь на литр красного крестьянского вина из бочки. И тогда Юрка предложил поехать к нему на выходные в районцентр, где гарантировал достойное продолжение начатого. Евгений Степанович легко согласился: его потянуло «со страшной силой» (любимое Юркино выражение), а он и не пытался этой страшной силе сопротивляться, он с лихорадочной готовностью рвался навстречу тому, что обещал Юрка, в таких делах никогда еще не подводивший.

Всё по обещанному сценарию и пошло. Они угостились уже по дороге от автостанции до Юркиного дома — в каждом ларьке, в каждой забегаловке у Юрки были друзья, кредит, либо и то, и другое. Весть о веселом возвращении мужа долетела до Юркиной жены раньше, чем он сам позвонил в дверь квартиры. Дверь так и не открылась: жена предусмотрительно ушла к родителям, прихватив малолеток — дочь и сына. Юрку такой поворот не обескуражил. Он даже не полез в квартиру, хотя, по его словам, мог бы запросто это сделать: как раз возле не прикрытого (впопыхах, видно) окна второго этажа разбросало ветви молодое, но уже крепкое дерево. Юрка отказался от штурма квартиры, где всё равно нечего выпить, а предложил, не теряя времени, пойти к приятелю-фотокорреспонденту, который неистощимо изобретателен по этой питейной части... Если, конечно, он не в командировке.

Приятель с запоминающейся фамилией Баумгартен как раз вернулся из командировки по селам, откуда привез всего, что требовала душа: вина, овощей, фруктов и даже заткнутую свернутой из клочка газеты пробкой бутылку свежего подсолнечного масла и высокий духовитый каравай крестьянского хлеба.

Что говорить, пирование удалось на славу. Была у Баумгартена и гитара, так что Евгений Степанович честно отработал за всё выпитое и съеденное. Он вообще с первой минуты встречи с Юркой Скомороховым переживал такой подъем, какой, может быть, случался в его жизни от силы раза два-три, да и то в ту пору, когда вкус вина еще казался вкусом самой радости, а не горькой и горестной отравой самой тоски.

Надо признать, Юрка Скоморохов и до этой последней встречи — в жизни, и в судьбе Евгения Степановича след оставил ощутимый. Был он лет на пять постарше, рисовал, писал стихи, обожал Бунина и О'Генри, был хохмачем и большим знатоком анекдотов, кабацких песен и хороших стихов, включая Баркова и Сашу Черного. Добавим, что Юрке так приглянулись первые стихи Женьки (в последствии Евгения Степановича), напечатанные в районной газете, что он сам разыскал Женьку в школе, познакомился с ним, да так и стали они приятелями... именно приятелями: что-то мешало большому сближению. А вот приятельство у них получилось без срывов, с устойчивым и уважительным взаимным интересом. Юрка незадолго до того вернулся домой комиссованным из армии по болезни, многое в его жизни, как в последствии и у Евгения Степановича, надорвалось, надломилось, выскочило из зацепления. Собственно говоря, Юрке Скоморохову вписаться, вживиться в реальность так и не удалось. Наверное, что-то подобное грозило и Евгению Степановичу — ведь недаром же его лечащий московский врач в прощальной беседе странно посоветовал бывшему студенту: «Постарайтесь дожить до тридцати лет. Доживете — будете жить долго, будет у вас, может быть, и не сразу, нормальная семья и хорошая работа. Но это — если доживете». Юрка Скоморохов до тридцати лет дожил, хотя и с большими проблемами. Натура у него была легкая, на жизнь всегда глядел с юмористической стороны. Тем приметнее показалась Евгению Степановичу происшедшая в нем перемена: был вроде бы такой, как обычно, — языкатый, напичканный шутками-прибаутками, всяким соленым фольклором, но время от времени вырубался, отрешенно задумываясь и мурлыча под нос припев растиражированной Зыкиной песни — «Ах, и сама я виноваты — я...» И — спохватываясь, встряхиваясь, снова начинал хохмить, словоблудить, пока опять не настигали его эти привязавшиеся нехитрые слова и это неподходящее ему настроение.

...Угомонившись к утру и проснувшись к полудню, Баумгартен и его гости обнаружили, что все сельские дары иссякли, и нечем начать новый день. И пошли втроем на базар, в те ряды, где торгуют крестьянским вином. Там, в толпе, потерялся Баумгартен, потом и Юрка куда-то исчез, остался Евгений Степанович один — с больной головой, с тоской и стыдом в душе и без копейки в кармане. Однако вчерашнее настроение, видно, всё еще гнуло его «со страшной силой», потому что, несмотря на душевное отчаяние, на головную боль и мерзость во рту — больше всего хотелось продолжить вчерашнее, и не как-нибудь, а чтобы достичь, наконец, какой-то цели, добиться какого-то ускользавшего до сих пор результата. И тогда он, уверенный, что всё будет, как нужно, решительно подошел к группе сбившихся у бочки, показавшихся ему достаточно просвещенными, мужчин, и, чтобы сразу обратить на себя общее внимание, стал с чувством декламировать неизвестно чьи стихи:

*Про вас не напишу — идите к черту!  
Заприте дверь, а ключ швырните вон!  
А я — напьюсь. Напьюсь не ради спорта,  
А чтоб залить вином зевок и стон...*

Потом, без перерыва, он перешел на Блока — «Пускай я умру под забором, как пес...». От Блока — к Есенину... Николаю Рубцову...

А потом обнимался с каждым, кто его угощал. И переходил от одной компании к другой, уже не замечая и не воспринимая ничего, даже наполняемых и опорожняемых стаканов...

Нет, это было не пробуждение, а что-то другое, невообразимо ужасное и — ненужное. В голове, в груди, во всем теле словно бы оживали новые и новые очаги боли, разрывающей то место, где эта боль оживала, — и он наполнялся этой раздирающей, раскалывающей, разламывающей болью — и тоже оживал, из последних сил противясь своему воскрешению, согласный на всё, только бы вернуться назад — в беспомыслие, в «отсутствие присутствия».

Он воскресал, оживал, осознавал себя и, еще не открывая глаз, сквозь безумную боль и невыразимо жуткое ожидание первых знаков чего-то непоправимо ужасного, случившегося с ним за время беспомыслия, — сквозь всё это пытался угадать свое местонахождение, старался представить себе, что с ним и в каком он виде. Он явственно различал голоса, много разных голосов, раздающихся как бы в просторном пространстве. Различал близкие и удаленные шаги — шаркающие, топающие, стучащие почему-то на уровне его головы. Слышал, как что-то волокли по полу, и эти звуки тоже странно отзывались в его пульсирующем, вздрагивающим от боли мозгу. Он догадался, наконец, что лежит на полу — на каменном полу, лицом вверх, на спине, вытянув руки вдоль тела, одетый и обутый. Он попытался разодрать слепшиеся веки — свет, замерцавший в зрачках, окончательно вернул его к жизни.

И что же это было за возвращение, Господи! Чего угодно ждал от себя Евгений Степанович, но только не того, что очнется под лавкой, на зашарканном и заплеванном полу Зала ожидания районной автобусной станции. Сам ли он вполз под нее, или, что вероятнее, его туда затолкали, — не всё ли равно? Он лежит на спине, закинув голову, с приоткрытым ртом, вытянув руки вдоль тела, он точно сослепу таращится на широкую темную доску лавки, на которой, судя по выставленным ногам, сидят две старухи и инвалид с деревяшкой до колена.

Евгений Степанович пошевелился... с трудом повернулся на бок, лицом к свету. Ноги двигались по залу, приближаясь и удаляясь, топая, шаркая и стуча... С ними рядом, покачиваясь и подпрыгивая, проплывали сумки, авоськи, чемоданы, мешки. Залетали под лавку и голоса, и еще много других звуков — вместе с пыльным сквознячком от раскрытых дверей.

Евгений Степанович через силу слотнул отвратительную слюну, пошевелил руками и ногами, провел непослушной ладонью по как бы не своему — жесткому, шершавому и колючему лицу. Всё вроде бы на месте. Не кровоточит, без признаков травм. Можно выбираться к людям.

Он скрипнул зубами.

Выползть из-под лавки на глазах у мужчин и женщин, пожилых и молодых, стариков и детей? Выползть — на пузе, на карачках, с грязным заросшим лицом, красными заплывшими глазами, в грязной и наверняка в отвратительных пятнах одежде? Господи, ну почему он не сдох, не разбился, не попал под машину, не избит до смерти, не удушен этим идиотским галстуком, которым, кажется, вытирал рот, когда его рвало?

Да, выползти. Выйти. И — повеситься на этом самом галстуке. Вот что ему надо сделать. Только ради этого и надо выползти из-под лавки. Только для этого и надо подняться на трясущиеся ноги и проковылять к выходу, а потом — к первому дереву, с подходящей веткой.

...Евгений Степанович растолкал ноги старух, отодвинул в сторону деревяшку инвалида, перевалился на живот и — пополз.

— ...говорю: посмотри на отца. Он ведь многое пережил, но — сумел же найти в себе силы! И, знаешь, он слушает. Правда, ничего не говорит, но слушает. Мне кажется, он хотел бы с тобой встретиться. А как ты?

— Да что — я? — удивился Евгений Степанович. — Я всегда готов. Тут другое... Что, собственно, я скажу кроме того, что он и сам знает? Только не подумай, — заторопился Евгений Степанович, — что я отказываюсь. Дело-то слишком серьезное, чтобы рассчитывать одолеть его одним разговором.

— Ты прав, прав, — поспешно закивала, почти затрясла головой Лена. У нее снова навернулись слезы на глазах, она отвернулась, поднесла к лицу платочек. — Ты прав... Но... Что же, что делать?

Евгений Степанович нерешительно спросил:

— К врачам обращались?

— Конечно! Ты, наверное, знаешь, я из поликлиники в невродиспансер перешла, уже второй десяток лет там... Всего навидалась и слышала. Я уже и кодировала его у психиатра, три года назад. Какое-то время всё было хорошо, нарадоваться не могла... А потом как сорвался...

— Не нравится мне кодирование, — покрутил головой и поморщился Евгений Степанович. — Ведь этим, по сути, отдаешься чьей-то власти. Точнее, одну чужую власть над собой заменяешь другой — и тоже чужой властью.

— А ты что предлагаешь? Что?

— Что я предлагаю?..

Евгений Степанович угрюмо насупился. Говорить или не говорить? Можно и не говорить, потому что во всем, что касается лечения, Лена осведомлена намного больше, чем он. И если остановилась на кодировании, то, значит, всего остального пробовать не захотела. И, должно быть, не захочет. Но с другой стороны, если уж она решилась говорить с ним о сыне, то надо честно сказать, что он обо всем этом думает. Хотя никогда и в мыслях не допускал, что решится предлагать свой рецепт кому-то еще. Тем более — сыну.

— Что же замолчал? — Лена с отчаянной настойчивостью скользнула взглядом по его лицу — они старались не смотреть один на другого. — Что ты предлагаешь?

Евгений Степанович до боли закусил нижнюю губу, прикрыл глаза. Как странно, что она так настойчиво допрашивает его об этом. Ведь должна... Ведь определенно помнит то решение, которое он сообщил ей, когда вернулся домой из Юркиного райцентра. Может быть, она ему тогда не поверила — хотя испугалась, истерику закатила, порывалась звонить его родителям... Но ведь он отрешения своего не отступил — тем более, когда узнал, что вскоре после их встречи Юрка Скоморохов повесился.

— Почему не хочешь сказать?

Лена отвернулась и всхлипнула.

— Да ведь ты, наверное, догадываешься, что я могу сказать.

Лена перестала всхлипывать. Шея плечи у нее напряглись.

— Нет, — глухо возразила она. — Не догадываюсь. Скажи.

Евгений Степанович потер кулаком лоб... Что было потом?

Потом он сам съездил в больницу, сам договаривался обо всем. Тогда-то и возникла проблема согласия родных, необходимо было соответствующее заявление от жены или от матери. Лена, узнав, что смысл заявления в том, чтобы снять ответственность с врачей в случае трагических последствий, испугалась, расплакалась: «А вдруг ты... погибнешь?» Евгений Степанович не стал настаивать, съездил к матери. Он не сомневался, что она такое заявление подпишет. И не ошибся... Почему Лена не хочет этого вспомнить? Или не может? Хочет, чтобы эти слова... были повторены им?

— Ты ведь помнишь, что я сказал... тогда... — Евгений Степанович взгляделся в свои сжатые кулаки с побелевшей, натянувшейся на костяшках кожей. — И если бы сорвался, то от того слова ни за что бы не отступил. В нем было... и есть мое спасение.

— Так скажи его... это слово... — Вадиму! — отчаянно выкрикнула Лена.

Евгений Степанович тяжело, мучительно вздохнул. Поднял голову и в первый раз прямо взглянул ей в глаза:

— Самоубийство.

## 12

В больницу он запретил приходить и Лене, и родителям, и, тем более, сослуживцам — удержать их от визитов оказалось труднее всего. Правда, на заводе никто толком не знал, каким недугом на самом деле поражен начальник испытательной лаборатории, не сразу стало известно и место его лечения. Собственно, секреты были нужны не Евгению Степановичу, а его близким и родным. Сам он с той минуты, как переступил порог больницы, думал только об одном: верно ли поступил, сделав такой шаг, а не тот, ради которого выползал по грязному полу из-под станционной лавки... не тот, на который решился и привел в исполнение Юрка Скоморохов?

Очевидным казалось — когда смотрел Евгений Степанович на свое пребывание в больнице как бы со стороны — что вроде бы сделал уступку, дал себе последнюю возможность стать на ноги. Пожалуй, в чем-то так оно и было, но не в главном. А в главном — не было уступчивой жалости к себе, не было уступки своему страху смерти. Евгений Степанович чувствовал, твердо знал, что не обманывает себя, не старается выглядеть в собственных глазах лучше, чем есть. Он ни на миг не забывал о вынесенном себе приговоре. И если что его и удерживало, так только одно: хотелось напоследок разобраться, в чем же была ошибка... А, может быть, и не только его одного ошибка... Которая так далеко увела его по ложному пути с того незамеченного им перекрестка, где были и другие пути-дороги, где была и та стезя, в которой — вся правда.

Порой казалось, что теперь он обязан найти дорогу назад, к истоку этой ошибки — найти уже не только для себя, но и для покойного Юрки Скоморохова, которого не случайно встретил и, можно сказать, проводил на тот свет с его пронзительным признанием, так безмерно нагрузившим слова простенькой песенки.

В этом пункте у Евгения Степановича складывался серьезный вопрос к Юрке, одно нарастающее сомнение — не в самом факте сделанного Юркой выбора — тут всё оставалось на своих местах, Евгений Степанович не пытался оспорить признание вины и любую, даже самую высшую меру самонаказания за нее. Только не маловато ли одного этого — вот в чем вопрос. Ведь, если до конца разобраться, то не победа этот исход, а — поражение... или не так? Вот в чем он не был окончательно уверен и вот почему не просто задержал исполнение приговора, но даже вообще поставил его под сомнение тем, что отправился в больницу. А ведь он, собственно говоря, сделал то, о чем они говорили с Юркой в ночь их последней встречи у фотокорреспондента с запоминающейся фамилией Баумгартен. Это ведь Юрка рассказал за столом о «защитой под шкуру торпеды», действующей в течение примерно двух-трех лет. Ее роль простая: нарушил обет трезвости — торпеда тут же, реагируя на изменение в составе крови, впрыскивает в организм препарат, вызывающий практически немедленное удушье.

— То есть, приставил к виску пистолет и знаешь: согрешил — курок сработает. И — точка.

Юрка взмахнул рукой и сшиб свечу вместе со стаканом, в котором она стояла, отекая на одну сторону стеариновым наплывом. Свеча упала, погасла.

Комната с развешанными по стенам крупными фотоснимками окончательно погрузилась в темноту. Стало слышно, как тяжело, с мучительным присвистом дышит уже «отрубившийся» автор снимков. Юрка стал неловко шарить по столу в поисках спичек — что-то еще опрокинул, разлил, проклиная хозяина квартиры, у которого соседи такие хитрые,

что нарочно выворачивают на ночь его пробки — как раз тогда, когда свет необходим для нормального самочувствия гостей. Евгений Степанович спросил в темноте: «Наверное, так и надо?» Спросил не о соседях — о торпеде. Юрка его понял, потому что ничего не ответил. Нашел, наконец, спички, старательно зажжет свечу и, глядя на пляшущий огонек покрасневшими, слезящимися глазами, уныло завел свою «отходную»:

Ах, и сама-а ды я-а  
д' винова-ты-я...

## 13

«Виноват... Конечно, виноват», — думал Евгений Степанович и чувствовал, что бесповоротно вынесенный им себе приговор как бы и подтолкнул его к необходимости заново открыть что-то такое, что он вроде бы знал, но не раскрыл для себя в истинном значении.

Догадка была рядом, но не давалась. Евгений Степанович плохо спал, почти перестал есть. И всё считал дни, когда же он, наконец, в этой новой жизни с пистолетом у виска разберется в своих проклятых вопросах.

Его лечащий врач — пожилой специалист, позже куда-то уехавший — заинтересовался Евгением Степановичем, несколько раз продолжительно с ним беседовал, пытаясь понять, что же так сильно изводит молодого человека — неуверенность? страх? нервное расстройство? Врачу казалось, что Евгений Степанович находится в состоянии аффекта, и что ему следовало бы нагляднее представить себе, какой опасности в будущем он себя подвергает — учитывая особенности организма, обостренную эмоциональность и даже тягу к нервным встряскам и перегрузкам. Врач и предложил Евгению Степановичу что-то вроде «репетиции собственной смерти» — то есть, предложил испытать на себе действие реagenta прежде, чем будет проведена полная процедура. Врач полагал, что «репетиция» заставит пациента отказаться от слишком рискованной для него операции. Евгений Степанович догадывался об этом, но спорить не стал. Сам он никаких сомнений не испытывал, а чужие сомнения на свой счет не воспринимал... с тех пор, как мысленно привязал к ветке дерева измызганный конец своего пестрого, заляпанного галстука.

А с другой стороны, он был не против не только взвесить в руке тяжесть будущего пистолета, но и хотел ступить хотя бы одной ногой туда, откуда не вернулся Юрка Скоморохов. И, может быть, тогда увереннее рассудить, что же все-таки самое трудное? Отказаться от жизни во грехе и проклятье? Или, не отступая от вынесенного приговора, преодолеть проклятье не смертью, а — жизнью своей?

Евгений Степанович был уверен, что не цепляется за жизнь, что уж в этом себя не обманывает. Он понимал Юрку Скоморохова, и сам поступил бы так же, если бы Юрка его не опередил. Но теперь Юркина смерть задержала Евгения Степановича у последней черты тем, что ею однозначно удостоверяться непоправимость ситуации. Интерес, симпатия, подспудная любовь к Юрке Скоморохову заставили Евгения Степановича с пристрастием вглядеться в эту однозначную непоправимость. И — усомниться в ее однозначной правомерности. Более того, он заподозрил в ней какой-то подвох, бессознательную ошибку, как бы специально подставленную ловушку для таких людей, каким до последней секунды был — а в памяти навсегда остался — искренний и светлый, талантливый и неизменно порядочный, веселый и изобретательный человек — Юрий Скоморохов.

## 14

— Вот ты сказал... это страшное слово... — медленно, с трудом разжимая губы, проговорила Лена. — Дело прошлое... Когда-то я, видно, не разобралась, почему ты вдруг спрятался от меня... От всех нас в больнице.

Но я — не о том, что было. Я — о сыне. Он ведь во многом похож на тебя. И в то же время — не такой. У него другой характер, другие интересы... Он любит музыку, эстраду, играет на электрогитаре, на ударных, поет... И у него получается лучше, чем у других. Правда. Но сейчас у эстрадников жуткая конкуренция. Он, как ни говори, самоучка, а кругом профессионалы с каким хочешь образованием. К тому же молоденькие, для них даже такие, как он, — уже чуть ли не ветераны. Ты вон и без пяти минут на пенсии, а работаешь. И по всему видно, уходить не собираешься. А у него проблемы, хоть на завод возвращайся. Но где они, эти заводы? Нет их, развалились. Куда молодому мужику деваться? Торговать? Воровать? Грабить?

Лена отвернулась, уткнулась в платок, всхлипнула. Евгений Степанович заерзал на скамье.

— Хочешь, чтобы я ему работу поискал?

Лена не ответила, никак не могла справиться с собой.

— Да, с работой сейчас очень непросто. Но не безнадежно. Тем более, он английский язык неплохо знает, спецшколу окончил... Наверное, придется какое-то новое дело осваивать. Неплохо бы по компьютерной части. Он в институте учился, на заводе поработал... Технике не чужой. Надо будет курсы или частных учителей оплатить — я готов.

— Господи! — Лена махнула рукой, не дослушав. — Да уж чего только мы с Артуром, мужем моим, и с Любой не перепробовали. Ничего его не устраивает. «Буду сидеть, уставившись в ящик для дураков — он так телевизор называет. — Сидеть, и всё» Вот что меня приводит в отчаяние — нет у него интереса настоящего в жизни. Точно опустела она для него. А тут еще этот разрыв... Всё сошлось одно к одному — он и расклеился...

Лена резко отвернулась, закрыла лицо руками. Евгений Степанович, морща лоб, тихонько постонал, украдкой потирая левую сторону груди. Прислушался, не поворачивая головы. Лена ходила взад-вперед у него за спиной, похрустывая сучьями, сбитыми недавним ветром. Вот остановилась и, кажется, повернулась в его сторону.

— И все-таки... Как мог ты... — голос ее звучал напряженно, почти враждебно. — Как мог ты сыну своему... Такое предложить? Ведь сам-то... Со всеми грехами своими... живешь?

## 15

Почему-то днем «репетиции» лечащий врач (он же и начальник отделения) определил воскресенье. А в субботу сразу после ужина больничный клуб позвал всех желающих и имеющих врачебное разрешение — на вечер отдыха, с небольшой лекцией, скромным концертом художественной самодеятельности пациентов (удачная замена слова «больных») и, в заключение, танцами до двадцати одного часа.

Евгений Степанович колебался — идти или не идти. Не до отдыха было и веселья. И уж тем более не до концерта и танцев в клубе психбольницы. И в то же время хотелось каких угодно новых впечатлений, только бы вырваться из порочного круга последних вопросов, замучивших не тем даже, что не давались на них ответы, а тем, что сами вопросы-то никак не схватывали сути разброда и борьбы, не отпускавших ни днем, ни ночью. После ужина он столкнулся в коридоре со Старшей сестрой — высокой статной женщиной с толстой каштановой косой, уложенной вокруг головы. Обычно как бы высокомерная и отчужденная, она с неожиданной приветливостью остановила Евгения Степановича вопросом о его настроении, еще раз напомнила о завтрашней «репетиции», объяснила, почему она назначена на воскресенье: дело серьезное, начальник отделения хочет провести его в спокойной обстановке.

— На вечер не собираетесь? — улыбаясь, спросила она. — А доктор просил передать его совет — сходить обязательно. Даже сказал: «Ему это будет полезно».

— Совет доктора — закон для пациента, — попробовал улыбнуться и Евгений Степанович. Окинул себя взглядом и развел руками. — Так и пойти? В пижаме? Или прикрыть ее своим лучшим халатом?

— Ваш вид вполне на нашем уровне, — утешила его Старшая сестра.

Всё же Евгений Степанович в клуб не спешил и потому пришел уже к концу лекции, посвященной, как сообщала афиша, общезначимой теме «Врач и больной». Угрюмый дежурный санитар хотел было выставить опоздавшего за дверь, но сидевшая неподалеку Старшая сестра вступилась за «своего больного», усадила его в соседнем ряду, представив Евгения Степановича оказавшейся с ним рядом своей приятельнице — худощавой блондинке с усталым лицом. Приятельница вымученно улыбнулась Евгению Степановичу и отвернулась к своим больным — женщинам, к концу лекции разговорившимся не в меру оживленно и голосисто.

Женщины занимали несколько рядов, среди них вперемешку сидели санитарки. Несмотря на это шум усиливался, нарастающее возбуждение прорывалось то смехом, то выкриками и рискованными шутками в адрес мужчин, то неожиданно вспыхивающими скандальными разборками. К счастью, доклад не затянулся. Молодой врач, обычная жертва общественных нагрузок, с торопливым облегчением сунул в папку свои листки и, поглядывая на часы, убежал к последнему служебному автобусу. Еще несколько минут, пока задвигали вглубь сцены тяжелую трибуну и делали предстартовый смотр участников концерта, зал крепился, а самые нетерпеливые хотя и вскакивали, горя желанием кто высказаться, кто спеть, кто станцевать, однако не так сильно сопротивлялись, когда их усаживали и убеждали помолчать, успокоиться. Но как только широкогрудый, как штангист, молодой врач (еще одна жертва общественных поручений) объявил первый номер программы — отрывок из поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» в исполнении ветерана сцены Раисы З. — зал так и взорвался от восторга, почувствовав, наконец, вкус долгожданной светской жизни. А тут еще, как нарочно, сразу после салонной, в длинном темном платье и в туфлях (а не в тапочках!) Раисы З., с ее грациозностью и проносом, с ее исполненными провинциального достоинства поклоном и кокетливым воздушным поцелуем, брошенным в зал, как граната в костер, — на сцене появились четверо мужчин в женских платках поверх халатов и запели «а саpella» нескладушки, с игривым вызовом обращенные к прекрасной половине переполненного зала.

Женщины в долгу не остались. Их отряд быстрого реагирования в пижамах и лыжных шапочках смахнул со сцены мужчин в платках и сразу перешел к полемическому пению, удалой пляске и даже разбойничьему свисту, удавшемуся исполнительницам более всего — во всяком случае, только свист и можно было разобрать в неистовом шуме. В этот критический момент невозмутимый молодой врач с плечами штангиста при поддержке не обиженных силенкой санитаров деловито протащил через зал в вестибюль усилитель с крупными динамиками, а несколькими минутами позже гулкий пустой вестибюль содрогнулся от оглушительных звуков знакомого блюза «Подмосковные вечера». Звук поубавили, и молодой врач, перекрывая восторженный шум бодрым, с признаками оживления голосом, сообщил в микрофон об окончании концерта и начале танцев.

Пестрая толпа халатов и пижам повалила в вестибюль. Евгений Степанович двинулся вслед за своей соседкой. Несколько раз, когда их уж очень чувствительно толкали или стискивали продирающиеся вперед «свои» и «чужие» больные, Евгений Степанович невольно заключал приятельницу Старшей сестры едва ли не в объятия, пытаясь таким образом облегчить ей продвижение. Эта осязаемая, согласная близость в наэлектризованной толпе смутила его... нет, не тем, что потянуло к незнакомой женщине, — не таких уж он был строгих правил, и не в загулах было



об этих правилах вспоминать... а тем, что потянулся он именно сейчас, когда на душе у него — такая тоска, растерянность и такое отвращение к себе за всё сразу: за сомнения свои, за колебания и отчаяние, и за свой предательский страх. И больше всего тем, что именно этот тоскливый, обессиливший страх, неведь почему оледенивший его здесь, в зале, на чудовищном, в сущности, концерте, так отчаянно подтолкнул его к этой худенькой, усталой женщине в белом халате.

Они выбрались в вестибюль. Теперь Евгений Степанович мог бы переместиться поближе к своей Старшей сестре, к «своей компании». Но он — с непонятным самому себе волнением познакомился со своей спутницей, узнал ее имя — Феня, да так и остался возле нее всё в том же странном невыразимом напряжении. Ни о чем он не думал, а мир, измордовавший его вопросами и укоризнами, отступил и затаился в ожидании чего-то, что должно было с ним произойти. Евгений Степанович встал у Фени за спиной, чтобы не мешать ей наблюдать за своими женщинами. Её голова оказалась чуть ниже уровня его глаз. В духоте возбужденной толпы он различил запах ее волос — странную смесь шампуня и, кажется, валерьянки. Он придвинулся поближе, чтобы разобраться в этом непонятном запахе, и почувствовал, как Феня прижалась к нему ответно напрягшимся телом. Он замер, чувствуя горячую пульсацию крови в висках. Потом осторожно подсунул руки под ее локти и почти обнял ее, касаясь пальцами снизу ее мягко выступающей груди. Феня сильно прижала его руки локтями, потом встрепенулась, высвобождаясь из объятий и что-то крича санитарке, которая, забыв о своих функциях, пустилась в танец с угрюмым санитаром.

На минуту Евгений Степанович пришел в себя, даже неловкость почувствовал за странное свое умопомрачение. Но Феня была рядом, она то и дело касалась его в бурлящей толпе, и он, не сопротивляясь, снова нырнул в горячую волну слепой отрешенности.

Тем временем могучий молодой врач сообщил в микрофон, что вечер заканчивается пятью последними танцами. И, должно быть, не без смысла, все танцы были очень быстрыми: молдовеняска, барыня, лезгинка, гопак и, наконец, галоп. Феня отошла к Старшей сестре мужского отделения, которую инструктировал всё тот же молодой врач, напоминающий Геракла, натянувшего на плечи белый халат Асклепия. Евгений Степанович тоже было хотел передвинуться поближе к «своим», но засмотрелся на танцующих, да так и не тронулся с места. Его точно молнией прожег вопрос: почему я здесь? Он повторял эти слова, проникаясь их чудовищным смыслом, словно только сейчас разглядел эти нелепые пары, это буйное, пугающее веселье, эту жуткую исступленность взглядов и лиц. Ему казалось, что он видит со стороны и себя в этой беснующейся толпе — потерянного, надломленного, недоумевающего, запутавшегося в вопросах, которые нормальным людям, должно быть, и в голову не приходят.

Нет, он не колебался в принятых решениях, и эта чудовищная свистопляска в душном вестибюле больничного клуба, превратившегося как бы в ликующий филиал преисподней, окончательно вколотила в его раскальвающиеся мозги убежденность в том, что ему — такому — больше на земле оставаться незачем.

...Кто-то тронул его за плечо. Евгений Степанович сильно вздрогнул и резко обернулся.

— Испугался? — Феня сочувственно отметила: — Даже побледнел. Ох уж, эти нервы! А у меня — лекарство для них. Дежурный врач меня отпускает — он сейчас сам соберет женское отделение и отведет его в корпус. И... тебя тоже отпускает. Проводишь меня до общежития и вернешься. Прогуляешься по воздуху перед сном. Ну, как?

— Железно... — неловко улыбнулся Евгений Степанович.

Феня взяла его за руку и повела к выходу.

После клубной духоты Евгений Степанович сразу остыл и почувствовал облегчение.

Уже стемнело. В старинных одноэтажных больничных блоках засветились окна. Холодный — к снегу, что ли? — ветер сметал с асфальта крупные черные листья, толкался в ветвях деревьев, сдирая с них последние лохмотья истрепавшегося наряда.

Феня застегнула на все пуговицы темный плащ, подняла воротник, повязала косынку. Евгений Степанович, ежась, плотнее запахнул широкий халат и пожалел, что не укутал по местной моде шею вафельным полотенцем.

И все-таки ему стало свободнее. Он перевел дыхание, сдавленное принудительным напряжением. Он вырвался из липкого ощущения собственной мерзости, странно его опьянявшей, когда несколько минут назад раскаленно притискивался к усталой женщине, которая сейчас зябко жмется к нему при порывах ветра.

Он не сомневался, что это облегчение — короткая передышка, что попытка вот-вот возобновится, как только его палачи сориентируются по погоде и ситуации и подступят к нему с других сторон. Но сейчас, ежась от холода и как бы даже радуясь ему, он — словно забытой и вдруг, на несколько минут обретенной надежде — удивлялся почудившемуся в промозглой и ветряной темноте намеку на какую-то другую жизнь, искреннюю, согретую живым теплом и душевным приветом.

Они свернули к общежитию — длинной пятиэтажной коробке, салютующей в сумраке треплющимся на балконах бельем.

— Темно у меня. Дочка уже спит, — указала на свое окно Феня. И, повернувшись к Евгению Степановичу, взяла его за руку. — Ох, как замерз! Идем, горячим чаем напою.

Он бы, наверное, отказался — слишком уж отважно-гостеприимной была ее улыбка под качающимся фонарем, и то, как с нарочитой беззаботностью передернула Феня плечами... Но, чтобы отказаться, надо было высвободить свою руку из ее теплой подрагивающей ладони — а этого Евгений Степанович сделать не смог. На то его лишь и хватило, чтобы, неловко усмехнувшись, сказать:

— А мой сын так рано не ложится.

И, стеснительно упираясь, он нырнул вслед за Феней в темный коридор.

...После общей палаты с двадцатью двумя койками и с двадцатью двумя не вполне здоровыми и не слишком сдержанными мужиками теплая и тихая комнатка с кухонкой и туалетиком показалась Евгению Степановичу райским уголком.

Девочка лет шести спала на топчанчике в углу за шкафом. Феня поправила на ней одеяльце и задернула угол ситцевой занавеской.

По другую сторону шкафа приткнулся к стене широкий, покрытый клеенкой стол с задвинутыми табуретками и небольшим черно-белым телевизором, на котором стоял светло-желтый глиняный кувшин с букетом побуревших осенних листьев. У противоположной стены, под грубоватым молдавским ковром, расположилась внушительная, как речной пароход, железная кровать с никелированными шарами, подобную которой Евгений Степанович видел у своей покойной бабушки. Да и застелена она была так же, как у бабушки — высоко, со взбитыми, на угол поставленными подушками и наброшенными на них тюлевыми накидками.

— Не стесняйся, садись, — Феня подтолкнула затосковавшего гостя к столу. — Бери табуретку... Вот так. Сейчас всё будет готово.

Она сдернула с себя и повесила на вешалку плащ и белый халат, набросила цветастый домашний халат, сняла, перейдя гостю за спину, колготки (Евгений Степанович невольно подглядел это в темном экране

телевизора) и, шлепая домашними тапочками, засуетилась с чайником у газовой плитки.

Чай, конечно, был слабоват, а сливовое повидло, хоть и собственно-го приготовления, но кислотовато. Однако Евгений Степанович в охотку выпил, не остужая, два стакана, причем, второй стакан налил себе сам, потому что Феня у него за спиной стелила постель.

Разговор не налаживался. Евгений Степанович листал детские иллюстрированные книжки — взял их с этажерки, где еще были куклы, игрушки, какая-то дешевая бижутерия и плетеная корзинка с клубками шерстяных ниток и начатым вязанием.

— Значит, сын у тебя? — спросила Феня, укладывая в изголовье две подушки.

— Сын... — с усилием отозвался Евгений Степанович. И добавил: — поменьше твоей.

— Сюда к тебе не приходил?

— Нет. Я сказал, чтобы ко мне вообще никто не приходил.

— Не жалеешь?

— О чем?

— Что так распорядился? Ведь тоскливо одному — без родных, близких.

— Да как сказать... Ну, допустим, приедут они сюда... ко мне. А ведь на самом деле — это вовсе и не я.

Феня остановилась, посмотрела на него, покачала головой и вздохнула. Включила ночник и забралась в постель под толстое широкое одеяло. Евгений Степанович смущенно покашлял и поднялся с табурета.

— Пойду... пожалуй... — сказал он с надеждой в голосе, стараясь не поворачиваться в сторону Фени.

Она засмеялась.

— Вот напугала мужика! Только и думает, как бы сбежать побыстрее. А ты погаси свет и присядь рядом, хочу спросить тебя кое о чем. И не переживай: Клава... — ну, ваша Старшая... впустит, когда вернешься.

Евгений Степанович послушно погасил ночник и неуклюже подсел к Фене на пружинящую кровать. Она подвинулась и, выпростав из-под одеяла голую руку, похлопала его по локтю.

— Совсем деревянный... Ладно, какой есть... Только скажи, почему так изводишься? Натворил чего?

— Да уж натворил, это точно, — горько усмехнулся Евгений Степанович. Помолчал и признался: — Всё перепуталось и в башке, и в душе. И всё болит. И никакого просвета.

Феня сочувственно погладила его по руке.

— Клава говорила — сюда сам пришел. А зачем?

Евгений Степанович пожал плечами.

— Не пришел бы — повесился. Как один мой приятель... — он помолчал. — Не могу жить такой жизнью. С пустой душой. И с отравой, в которой, вроде бы, от этой пустоты — одно спасение... Не могу.

Он с силой покрутил головой и даже, не сдержавшись, застонал, сжимая кулаки.

— Ну, чего ты... — Феня потрепала его по руке, придвинулась поближе. — Выйдешь отсюда и заживешь по-другому, как надо.

— В том и беда, что не знаю, как надо. Не знаю! Мы с приятелем, который повесился, незадолго до того всю ночь проговорили. И помню, что он мне тогда доказывал... Мы закабалены, мы в рабстве — кто у отравы, кто у телевизора, кто у политики или еще какой-нибудь пакости. И я вижу — он прав. Вот так, в упор вижу: все мои, все наши мученья только оттого, что нет у меня, нет у нас в жизни самого главного — нет этой свободы. Понимаешь? Душа требует, душа чему-то учится, куда-то стремится, на что-то надеется... А мы ей — ничего, ниоткуда, никуда, никак. А то и покруче — кнутом по глазам. Тогда и возникает этот вопрос: а как ее, душу, освободить? Что мне — именно мне, а не кому-то

другому — надо для этого сделать? Повесится? Или жить... но если жить — то как? Как жить?

Евгений Степанович осекся, сжал Фенину руку. Виногато усмехнулся — Как бы я своим криком девочку не разбудил... испугается.

— Ее сейчас из пушки не разбудишь, — Феня ответно сжала его руку. — Вот не думала, что можно так переживать.

— Э-эх, — страдальчески сморщился Евгений Степанович. — Да что от них толку, от этих переживаний. У нас ведь как получается: попереживал — и вроде бы тем самым себя наказал. Сильно попереживал — сильно наказал. Ну, а раз сильно наказал — можно... если не простить, то — помиловать. И начать всё сначала. По кругу. Пока башка с плеч не слетит... Юрка, приятель покойный, говорил так: хочешь из круга вырваться на свободу — пойми, зачем она тебе? Чтобы освободиться? Но — от чего или для чего? Чувствуешь разницу?

Евгений Степанович повернулся к Фене, еще крепче стиснул ее руку.

— Юрка так считал: если всё к тому лишь сводится, что хочешь от чего-то освободиться, — дрянь дело, век свободы не видать. Потому что получить ее можно только для чего-то. И только оно, это «что-то» может, как трактор, вытащить из любого болота.

Евгений Степанович замолчал. Он словно только сейчас увидел Феню, слабо освещенную легкими голубоватыми отсветами, залетающими откуда-то в темное окно. Он наклонился, погладил ее по голым плечам, зацепив пальцами за узкие шлейки комбинации. Феня отодвинулась к стене.

— Ложись... — тихо сказала она.

## 17

— Ну что, готов?

Врач внимательно и как бы оценивающе посмотрел на Евгения Степановича, снял дымчатые очки и еще взгляделся, чтобы, кажется, не упустить чего-то неожиданного в его лице и глазах.

— Готов, — со всей возможной убежденностью подтвердил Евгений Степанович.

Он честно выдержал испытующий взгляд начальника отделения и только потом, переведя дыхание, посмотрел на Старшую сестру, которая заговорщически улыбнулась ему и даже головой встряхнула, как бы одобряя его исключительно находчивый и мужественный ответ.

— Ну, если готов... — врач надел очки, встал, посмотрел на часы. — Если готов — давай в процедурную.

Пока врач еще раз проверял, всё ли под рукой, а Старшая сестра приводила в боевую готовность все инструменты и препараты, Евгений Степанович разделся, как было приказано, догола и улегся на кровать, зябко поеживаясь под тонкой простыней от холода и от волнения. Он почти не следил за тем, что делают врач и Старшая сестра, захваченный поглощающим ожиданием наконец-то вплотную придвинувшегося решающего испытания, которое вымалывал, приближал, торопил — веря и отчаиваясь, страшаясь и надеясь.

Врач посчитал у него пульс, Старшая сестра измерила кровяное давление и сделала укол. Евгений Степанович потер руку и опять лег, прикрыв глаза, — почему-то утренний свет в высокой белой палате казался слишком резким. Он слышал позвякивание, тихие голоса врача и Старшей сестры. Голоса приблизились, он ощутил знакомый резкий запах.

— Ну, дорогой мой... За дело, — громко, с наигранной бодростью произнес врач.

Евгений Степанович открыл глаза. Рядом с кроватью стояла, наклонившись к нему, Старшая сестра и, напряженно улыбаясь, протягивала блестящий круглый подносик, на котором хрустально отсвечивала, подрагивая, почти полная стопка и аппетитно лежал на белом пластиковом блюде ломтик присыпанного крупной солью черного хлеба.

Евгений Степанович вопросительно посмотрел на Старшую сестру, на врача — они натянуто улыбались ему, поощряя к действию. Тогда он, сморщившись, выдохнул воздух и, задерживая вдох, быстро взял стопку, опрокинул ее в рот, закинув голову, торопливо сунул в рот хлеб, чтобы перебить резкий запах и неприятный ожог, перевел, содрогнувшись, дыхание и с облегчением, повеселевшим голосом сказал то слово, что так часто звучит в русской речи в самых отчаянных обстоятельствах:

— Поехали!

— Да, да, — внимательно всматриваясь в него, подтвердил начальник отделения. — Вот именно: поехали. Теперь, как космонавт, приготовься к перегрузкам. Клава, позовешь, я у себя буду.

— Ага, — с нервной готовностью отозвалась Старшая сестра. — Как только — так сразу.

Евгений Степанович проводил врача взглядом и почему-то обрадовался, когда тот в дверях обернулся и почти забытым уже ротфронтским приветствием поднял сжатый кулак. Евгений Степанович хотел ответить тем же, но рука запуталась в простыне, а показывать кулак Старшей сестре он не стал, рассудив, что может быть неправильно понято. К тому же ему показалось, что он уже чувствует что-то неладное — непонятное ускорение сердцебиения и неожиданно сильное желание открыть окно, чтобы вдохнуть свежего воздуха.

«Как-то уж слишком быстро, — осадил он себя. — Впечатлительность подводит. А проще говоря — мандраж».

Он заставил себя прикрыть глаза, попытался дышать глубже и ровнее, попробовал отвлечься мыслями о сыне: стал вспоминать их последнюю перед больницей прогулку. Они тогда дошли пешком до Пушкина Горки, а там, в скверике, пацан как-то вдруг сразу сморился, полез к нему на руки, да так заснул, что не проснулся ни по дороге домой, ни дома, когда раздевали его и укладывали в кроватку...

Евгений Степанович вздрогнул, напрягся, широко открыл глаза. Старшая сестра живо повернулась к нему, вскочила со стула. Евгений Степанович попытался что-то сказать, попросить, чтобы быстрее открыла окно, но только передернул руками в воздухе и захрипел. Голова у него начала с силой, с хрустом заворачиваться назад, в глазах потемнело. Неведомый, сокрушительный ужас обрушился на него из потемок — весь свет остался только в сияющем на черной стене прямоугольнике окна... И вдруг этот прямоугольник закачался и, сорвавшись с места, стремительно полетел, уменьшаясь, то ли вниз, то ли вверх, унося с собой в сплошной ужас истончающееся, исчезающее сознание жизни.

## 18

И раньше случалось ему терять сознание. И в детстве, когда, гоняясь за петухом, сорвался в яму с какими-то железяками на дне. И потом — в больнице... Были и тогда испуг, паническое усилие удержать ускользающую реальность. Но не было такого беспредельного и беспросветного ужаса, а были растерянность и до последней секунды как бы недоверие к происходящему.

Да и в себя приходил, будто пробуждаясь от странного, крепкого и беспамятного сна, не сразу и неохотно отзываясь на оклики и расталкивания, упираясь на грани пробуждения, однако уже и на этой грани разделяя внешнее и внутреннее, относя внешнее в подтверждение себя внутреннего.

Но то, что было сейчас, оказалось не продолжением того, что и в потемках, и в беспамятстве все-таки не прерывалось... То, что происходило сейчас, стало толчком — после полной остановки, стало новым началом — после полного обрыва, возникновением — после исчезновения.

Это было возвращение к жизни — из нежизни, из небытия, из пустоты.

Сперва стали возникать разрозненные ощущения, возникать сами по себе, как крошечные тусклые лампочки в бескрайней и бесчувственной темноте... Где-то легкий холодок, где-то настойчивые похлопывания, где-то слабый укол... Потом эти ощущения, множась и объединяясь, замкнулись во вспыхнувшей от их короткого замыкания догадке, что они — это жизнь, его жизнь, заново возникшая, а не ставшая возобновлением той, прерванной жизни. Потом появились и задвигались какие-то мысли, и первой из них была о том, что если бы воскрешение не состоялось, то, может быть, это было бы совсем неплохо... ведь он и сейчас не чувствует себя защищенным от нового натиска непредсказуемой в своей изобретательности на всякие подлости действительности.

Он не успел толком осмыслить это сомнение — завозился от странно, никогда, даже в отдаленном сходстве не испытанного ощущения, от накатывающего на него подозрения, уверенности, что он — это вообще уже не он. «А если там, в темноте, меня подменили? — он замер, покрываясь ледяным потом. — И вообще — кто я? Что со мной? Где я? Есть ли кто-нибудь рядом?»

Он задержался, забился, слепо хватаясь за воздух, за простыню, за кислородную подушку, за полотенце. Вскрикнула Старшая сестра — он до боли стиснул ей руку. «Да очнулся ли я? — он силился открыть глаза — вдруг свет нестерпимо болезненно полоснул по зрачкам. — Я в сознании? Кто эти люди? Что они со мной делают?»

Он бился на кровати, вырываясь из рук врача и сестры. Лицо его заливали слезы, он что-то бессвязно выкрикивал, давясь от рыданий, судорожно, с хрипом втягивая воздух. В палату вбежала санитарка, схватила его за ноги, потом вбежал санитар... Врач, наконец-то, смог добраться до шприца, сделать укол.

Через несколько минут врач отпустил санитарку и санитару, посмотрел на часы.

— Да... рискованный случай.

— Я такого вообще не помню! — Старшая сестра подвернула рукава, оглядела руки и запричитала: — Господи, сплошь в синяках. Что теперь мужу скажу?

— Скажи, что еще легко отделалась.

Врач протер свои дымчатые очки, надел их и опять посмотрел на часы.

— Пожалуй, поеду. Тебе еще подежурить придется. А когда проснется — позвонишь... Нет, окно не закрывай. Лучше двумя одеялами укрой. Воздух — чувствуешь? Осенний, глубокий... с горчинкой. Самый для него целебный.

## 19

Светлое тепло, пробуждая, мягко и настойчиво легло ему на лицо. Он легко и радостно потянулся к нему... и — очнулся, и — проснулся, и — еще не открывая глаз, понял: случилось что-то необыкновенное.

Да, определенно произошло что-то с ним и вокруг него, и сейчас ему предстояло в этом разобраться. Надо было только открыть глаза, и он хотел их открыть, но удерживал себя, как бы в предощущении радости пробуя угадать, какой же — тот удивительный, кем-то обещанный и, наконец, приготовленный — подарок он сейчас увидит.

Золотистое сквозь веки тепло еле заметно сместилось на лоб — тогда он открыл глаза... и — точно поплыл, подхваченный волной золотого сияния, точно захлебнулся заполнившим высокую палату золотистым светом.

«Как легко... как легко и просто... — бессвязно и счастливо думал он. — Вопросы, сомнения, страхи... да где же они сейчас? Их нет, потому что им не место в этом сиянии... Потому что у этого света нет теней... он — как душа... непостижим, не разделим... в нем — вся правда и вся

свобода... И ничего больше не нужно, кроме этого света и его доброго тепла... Зачем эта пуганица — это странное, мучительное прилаживание свободы то в качестве паруса, то в качестве ветра? Она — и парус, и ветер, и океан, и звезды над волнами... И еще она — это я и моя лодка... мой собственный путь по стрелке, которая знает, что плыть надо только на этот свет...»

Ему захотелось встать, подойти к окну, через которое вливался в палату золотистым потоком удивительный предвечерний свет.

Он оглянулся — никого. Вот и хорошо... Осторожно поднялся с кровати, удивляясь странному своему состоянию: не пугающему, а, скорее, приятному легкому головокружению, удивляясь своей слабости и — легкости... Натянул халат, подумал и набросил сверху одеяло. «Теперь — на волю!» — счастливо усмехнулся и, шаркая тапочками, двинулся навстречу окну.

Оно выходило прямо туда, куда сейчас клонилось солнце. И поскольку дом был в ряду последним, — там, за окном, без помех открывалось всё, что было видно с больничного холма.

Полураздетый, полупрозрачный парк, спускающийся по склону в долину к ручью.

Убегающие к горизонту, позолоченные солнцем и размытые туманной дымкой волнистые холмы.

Пестрая россыпь домишек далекого села с церквушкой посередине, поблескивающей почти неразличимым на таком расстоянии золотым крестиком.

И — черные тучи, нависшие тяжелым пластом над пронизанным солнцем простором, — то ли как напоминание о вчерашней и ночной непогоде, то ли как предупреждение о скором затяжном ненастье на трудном переходе от осени к зиме.

Нет, жизнь не обещала вечного праздника. Жизнь вообще ничего не обещала — она предлагала то, что у нее есть. Без права выбора, без отказа тому, кому она нужна, — вся, безоговорочно и безраздельно. С ее предзимними тяжелыми тучами и неожиданно по-весеннему теплым солнцем. Волнистым окоемом земли и уходящим за оком бездонным небом. Ее извилистым и прихотливым, упрямым ручьем. Ее сияющим в золотых лучах на сельской церкви далеким, почти неразличимым крестом. Ее надеждами, разочарованиями и ее чувством жизни, похожим на этот осенний воздух — родниково свежий и сладкий, но и — с прощальной дымной горчинкой.

## 20

— ...да ты меня не слушаешь? Нет?

Лена дернула его за рукав. Евгений Степанович вздрогнул и виновато заерзал. Лена досадливо махнула рукой с зажатым в пальцах влажным платочком, отвернулась, промокнула глаза. Евгений Степанович, сердясь на себя, покашлял в кулак.

— Извини... Задумался о том, что бы я мог сказать по существу. Честно признаюсь — боюсь, что ничего у меня не получится... Только добавлю отчуждения и недоверия, а то и вызова всему, что, видите ли, правильно и хорошо... Не подумай — не отказываюсь встретиться... поговорить. Просто... уж я-то знаю, чего на самом деле стоят все слова. Знаю!

Лена напряженно вскинула лицо, как бы подставляя его остужающему ветру. Зажмурилась. Помолчала.

— Всё понимаю. Всё. Одного не пойму — что делать. Только заикнулась о тебе... он: «Зачем отца в мои проблемы втягивать? Никогда не обращался к нему, а теперь... У него — своя жизнь, работа, дети... И мне, мужику, мораль будет читать?» Говорит он, говорит... а мне так и кажется: хочет, чтобы ты о нем вспомнил.

— Да никогда я о нем и не забывал! — Евгений Степанович осекся.

Конечно, не забывал... а что толку? Наверное, нужно было воевать — с ней, с Леной воевать! — чтобы сын знал отца, а отец — сына. Но ведь пришлось бы тогда и с собственной матерью воевать, которая во имя своей безмерной любви к внуку — требованиям бывшей невестки постоянно уступала и... помогла оградить внука от общения с отцом, забывая, что отец-то этот — не чужой ведь ей самой человек, ее родной сын... Эх, да что он всё хочет вину свою переложить на кого-то? Ведь всё понимает, а прячется. От кого? От чего? От себя — не спрячешься. От боли своей, от стыда... Одним только утешался — думал, что всё же складывается жизнь у сына не хуже, чем у других, а главное — такой, как он сам себе выбирает... А он ее — вот какую в конце концов выбрал.

— Не думай, не собираюсь мучить своими просьбами. Просто — отчаялась, пойми. Но если чувствуешь... что не можешь...

Лена замолчала, горестно покачала головой и снова отошла от скамейки. Евгений Степанович тоже встал, потоптался на месте. Лена, странно сутулясь, беспорядочными мелкими движениями вытирала лицо и платком, и просто ладонями.

— Совсем нет сил... — как бы оправдываясь, срывающимся голосом сказала она, отворачиваясь.

А он громким — для поддержки духа, что ли? — голосом попытался скрасить мучительно-безнадежный итог разговора:

— Давай-ка запишу номер. У меня только тот, по которому мама звонила.

— Ну, у них с тех пор поменялся... Сейчас простой набор... Записал?.. Не обижайся, что вытянула тебя...

— Да что ты!

— ...не обижайся... видишь, какая стала? Как еще меня Артур терпит... Никого не корю, кроме себя самой. Только думаю: в чем же та ошибка, за которую теперь расплачиваюсь? Уж не в том ли, что от тебя ушла... к другому?

Евгений Степанович попытался что-то сказать, но пока подбирая слова, Лена посмотрела на часы, заторопилась:

— Господи, сколько времени улетело... Но хочу успокоить: это в первый и последний раз. Больше мы не встретимся.

Евгений Степанович опять попытался что-то сказать, и опять не сумел или не успел подобрать слов, — Лена повернулась к нему и, отводя глаза в сторону, сказала смущенно-извиняющимся тоном:

— Наверное, лучше, если ты не сразу позвонишь. Понимаешь, он... ну, после срыва... как-то старается загладить плохое. О работе говорит. С Любой отношения налаживает. Ты через недельку или чуть больше позвони — предупреди момент, когда он начнет нервничать, искать повод...

— Ну... как скажешь, — Евгению Степановичу стало неловко от того облегчения, с которым он услышал об отсрочке тяжелого разговора. И в то же время он еще тоскливее засомневался в успехе и в самом смысле разговора, который, в сущности, ничего не меняет в жизни, а время его выбирается по таким вот соображениям.

Лена попробовала надеть черные очки, увидела, что они сломаны, бросила их в урну.

— И еще... Не говори, что встречалась с тобой. Вернее, так... Можешь сказать, что столкнулся со мной случайно... я шла со слезами на глазах... ты не выдержал, спросил, в чем дело... а я сказала, что переживаю за сына... И ты поэтому хочешь встретиться, расспросить, что случилось... Интересно, как он сам обо всем расскажет?

— Да, да, — закивал Евгений Степанович в тоскливом смущении. А Лена, волнуясь, продолжала настаивать его по всем вероятным вариантам:

— Может быть, придется не один раз позвонить... У него телефон с определителем — Люба... да ты же помнишь ее, был ведь на их свадьбе...



когда Люба дома — а она из командировок не вылезает — не снимает трубку, если ей кажется, что это кто-то из дружков. Да он и сам от звонка может отмахнуться — смотря в каком настроении.

— Значит, несколько раз попробую, — заверил Евгений Степанович.

— Или так может случиться. Ты позвонишь — никого. А потом он проверит номер по записи и сам тебе позвонит...

Они остановились на развилке двух аллей.

— Мне — сюда. На остановку.

— А мне — на работу.

— Ну... прощай. Сделай, как обещал. Может, хоть это поможет.

— Не знаю. Но — позвоню. И дозвонюсь.

## 21

Евгений Степанович часто и виновато-растерянно думал, как же случилось, что он так и не дозвонился.

Проще всего было бы признаться, что он не очень этого хотел.

Да, это так... Но ведь он честно звонил и звонил — и через неделю, как было условлено, и еще каждые два-три дня.

Потом был звонок Лены.

— Так и не поговорил? Не смог дозвониться? Их, наверное, дома не было. Люба в последнее время часто его с собой в командировку увозит. На несколько дней. Мы с Артуром даже удивляемся — ведь это, наверное, непросто. А с другой стороны — я ее понимаю: нельзя же Вадика одного оставлять... Знаешь, я рассказала ему о нашей встрече... Ну, как бы случайной, понимаешь? По-моему, он хочет сам тебе позвонить. Я дала ему твой телефон. Ничего?

— Правильно сделала, — Евгений Степанович с надеждой подумал, что звонок сына намного бы упростил и сделал более естественным возможный откровенный разговор.

— Обязательно поговори с ним! — в голосе, издерганном волнением и телефонными помехами, посылались знакомые боль и надежда.

— Да я бы уже давно... — Евгений Степанович сморщился от болезненного сознания своей беспомощности. — Но... что-то не получается.

— Получится! — голос осекся. И уже другим, недоверчивым тоном спросил: — А ты не передумал?

— Да нет же! Как можно! — Евгению Степановичу было и стыдно, и больно. И что-то новое поднималось в душе, но в этом новом, незнакомом и непонятном чувстве еще предстояло разобраться... Он хотел что-то добавить, но связь прервалась, и он, повертев трубку, положил ее на место.

Больше звонков не было.

— Не нужен я ему... Не нужен — в этом всё дело, — с горечью думал, а порой и вслух наедине с самим собой произносил Евгений Степанович. И еще добавлял — тоже вслух, как бы для большей убедительности: — И никогда не был нужен.

Он начал было размышлять, кто кому должен быть нужнее: родители — детям или дети — родителям, но как-то сразу почувствовал, что это — схоластика... Неуклюжая схоластика для маскировки тайной расчетливости. Но рядом с этими мыслями, тесня их и отодвигая, стало всплывать одно воспоминание, в котором для Евгения Степановича сосредоточилось столько отчаяния, что он всегда гнал его от себя. Только теперь решился он, наконец, открыть эту запретную, мучительную страницу. Потому как надо же было пусть даже такой ценой хоть что-нибудь объяснить в изнуряющей путанице, изматывающей сумятице.

Страницей этой были похороны отца и поминки после похорон.

Евгений Степанович привез отца из республиканской больницы в райцентр только к вечеру. Провел бессонную ночь один, рядом с гробом. Чего только не вспомнил, о чем только не передумал... А утром в

родительский домишко потянулись люди — бывшие сослуживцы отца, его выпускники и ученики, его соратники по ветеранской парторганизации... На следующий день, на похороны, первым поездом приехала жена Евгения Степановича с его дочками. Девочки были растеряны, напуганы, убиты горем — они очень любили добрейшего деда и никак не могли представить, что уже не прочтут его писем, не расскажут ему о своих секретах, не посидят с ним рядышком, слушая его воркотню...

Евгений Степанович был с мамой, она часто брала его под руку, прижималась лицом к его плечу... И тогда вся такая худенькая, седая, потерянная, вздрагивала от рыданий. Ему было нестерпимо жаль ее, жаль себя, своих девочек, жаль своего отца, так странно, так пугающе неподвижно лежащего среди цветов в узком красном гробу. Но было в этом горе и какое-то утешение, какое-то просветление — в сознании любви к ушедшему, в сознании неизбежности этой любви, которая единит нас живой связью с тем, кого мы никогда не отдадим забвению.

Уже прошел митинг-панихида на улице рядом с домом. Готовились отбыть на кладбище катафалк и несколько автобусов... Евгений Степанович пожалел, что не смог приехать, чтобы проводить дедушку, Вадим. И вдруг — увидел его, пробирающегося в толпе, а потом — и немного отставшую от него Лену. Евгений Степанович обрадовался, сказал об этом маме, — она радостно вскрикнула и, забыв обо всем, бросилась навстречу внуку и бывшей невестке.

...Неужели пролетевшие годы так и не смягчили всего, что было пережито с того страшного момента, когда мама почти демонстративно отстранилась от него, от сына, и повела себя так, как будто на похоронах ее супруга у нее кроме внука и бывшей невестки — больше никого из родных и близких нет? Ну, конечно же, притупились и лишь тоскливым недоумением отзываются в душе горестные сцены странного, неуместного спектакля, разыгранного и в катафалке по пути на кладбище, и там, на кладбище, у края могилы, и потом, на поминках, где столько удивительно искренних хороших слов было сказано о том, кто единственный раз собрал за одним столом десятки самых разных людей.

Всё ушло, ушло навсегда — слезы девочек и жены, обида и досада, боль и горечь, сознание вины и ощущение какой-то чудовищной неуместности именно такого наказания, именно такой — уже непоправимой расплаты.

Всё выплакано, всё перегорело, да и до обид ли было, когда такими тяжелыми и такими мучительными были потом и болезнь мамы, и ее беспомощность, и постигшее ее под конец жуткое беспомыслие. До обид ли было, когда забирал ее из района, когда обустроивал в ее комнате, водил на прогулки, мыл, как ребенка, в ванной, кормил и подолгу выслушивал ее бессвязный лепет, где только одно и было понятно — как по-прежнему любим ею внук Вадим. До обид ли было, когда вглядывалась в ее такие чужие, так странно далекие и опустелые глаза, и уже не мог вернуть ее ни к себе, ни в эту покинутую ею жизнь.

Но вот, оказывается, есть и еще что-то, всплывшее в памяти... Проявилось вопросом, подавленным в тот далекий уже черный день, подавляемым в черные дни маминой болезни и прощания с ней... — вопросом к сыну... Ну, почему же не отстранился ты от участия в том странном, жестоком, несправедливом, на публику разыгранном представлении? Ведь одного бы твоего слова хватило, чтобы всё повернулось совсем по-другому! Почему — такой высокий, статный, красивый, прекрасно одетый, с золотой цепью и крестом на могучей шее, привлекающий всеобщее внимание — почему не пожалел своего отца не только в постигшем его горе, но и в том страдании — пусть и заслуженном! — которое с изощренным беспощадством чинили ему на глазах посторонних людей... и на твоих глазах... с твоей помощью?

Не потому ли, что и в самом деле потерял ты отца своего — не только за его грехи, но, может быть... и за свои собственные?

Евгений Степанович молился.

Он понимал, что нет ему прощения за всё, что сделал плохого и не сделал хорошего в этой жизни.

Он понимал, что нет ему прощения за то, в чем виноват перед отцом своим и перед матерью своею.

Он понимал, что нет ему прощения за то, в чем виноват перед детьми своими, перед сыном своим.

Но понимал еще и то, что свобода, которую он все-таки выстрадал и которой не изменит ни за что до самой недалекой уже смерти, есть и будет главной и единственной ценностью, какая спасительна всем, кто способен жить не только ею, но и для нее.

И это свое понимание Евгений Степанович пытался выразить в молитве, слова которой искал в душе и в сердце, и в разумении своем.

Искал для всех.

И для сына.

И верил, что если найдет эти слова, то найдет и сына своего, как бы далеко ни развела их злая судьбина.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ДВЕ ДОРОГИ

#### 1

Не выдержал Евгений Степанович — решил сам связаться с Леной. Разузнал ее служебные координаты и телефоны и, набравшись смелости, позвонил. Ему вежливо объяснили, что сотрудников диспансера по частным поводам в рабочее время к телефону не приглашают, но можно оставить свой номер, чтобы телефонный разговор состоялся в перерыве или после работы.

Нет, не состоялся разговор. Ни в перерыве, ни после работы. Ни в этот день, ни в последующие.

Что делать? Позвонить Лене домой?

И вот, после долгих колебаний, уже летом, в какую-то субботу, когда, как обычно, работал он в своем служебном кабинете, радуясь непривычными на их шумном, многолюдном этаже тишине и покою, как-то вдруг, с неожиданной для себя самого решимостью придвинул телефонный аппарат и, торопясь, точно не давая себе времени передумать, набрал Ленин номер и, сдерживая дыхание, стал ждать... удачи... ее ответного голоса... а в голосе — хоть бы чего-нибудь обнадеживающего...

Но трубку взял мужчина... Евгений Степанович, невнятно буркнув извинение, уже хотел было нажать пальцем на рычаг, да так и застыл, остановленный вежливым, приветливым мужским голосом.

— Вы — Евгений Степанович?

— Да... — подтвердил он неуверенно.

— А я — Артур... Эдуардович, — представился вежливый голос и сдержанно усмехнулся: — Вот и познакомились. Как говорится, лучше позже... чем раньше, — скорректировал он по ситуации. И, словно чему-то радуясь, приступил к обстоятельному изложению несложной мысли: — Так вот, звонить Елене Федоровне вам больше не следует, в этом нет никакой необходимости. Ее случайная встреча с вами ничего в ваших с ней отношениях не изменила. Я думаю, что ничего не изменилось и в ваших отношениях с Вадимом. И еще думаю, никаких шагов в его сторону вам предпринимать не следует. Ничего, кроме дополнительного вреда, такие шаги дать не могут. Вы ведь, насколько мне известно, для своей мамы тоже были не подарок...

Вспоминая снова и снова этот разговор, Евгений Степанович со стыдом за себя удивлялся, почему не возмутился, покорно проглотил ужасные, оскорбительные по сути слова. Конечно, он заслуживает отповеди и покрепче, и похлеще... но не от этого же человека! Хотя и от мамы, и по слухам узнавал он, что отчим относится к Вадиму неплохо, в родные отцы не навязывается, избрал, по всей видимости, разумную позицию старшего... если не друга, то, по крайней мере, товарища. В отношении между матерью и сыном не вмешивается, в конфликтах между ними, если уж нет никакой возможности сохранить нейтралитет, выступает парламентаром-примирителем.

Должно быть, такая не худшая для Вадима ситуация сложилась по той причине, что и в новой семье он так и остался единственным ребенком. Возможно, не хотел отчим обременяться лишней заботой — тоже ведь оставил первую жену с дочкой... примерно ровесницей Вадима.

Вот ведь как странно жизнь складывается. Лена ушла к Артуру... Эдуардовичу не в те годы, когда всё у Евгения Степановича шло наперекосяк. А где-то через год после его «возвращения к жизни», когда стало ясно, что главным для него всерьез и, видимо, навсегда стали учеба и работа. С Артуром, преуспевающим врачом-рентгенологом, знакомство у нее было давнее, с обоюдной симпатией, с общими интересами — Артур оказался заядлым рыбаком, а Лене, как выяснилось, очень нравилось ездить с ним на рыбалку на мотоцикле — с ночевкой в палатке, с ухой, сваренной на костре в котелке, с хорошим вином, разлитым в походные железные кружки...

Из Вадима рыбак не получился, его тянуло к музыке, но узнал об этом Евгений Степанович только тогда, когда сын бросил институт, стал играть и петь сначала в одной любительской группе, потом в другой, а потом уже в полупрофессиональной, регулярно играющей в клубе Дома офицеров и даже выезжающей на концерты в районные дома культуры, расположенные в пределах двухчасового радиуса тряского пробега потрепанного домофицерского автобуса.

Ну, а как забрал Евгений Степанович маму к себе... так более-менее регулярные сведения о Вадиме и превратились... Остановились на том утешительном для мамы (да и для самого Евгения Степановича), но, как оказалось, нереальном известии насчет отъезда Вадима с новой его подругой-певицей в Германию.

И вот теперь — полная и потому особенно страшная неизвестность, открывающая простор самым худшим предположениям, для которых у Евгения Степановича, к несчастью, более чем достаточно даже одного только личного опыта. Нет, так дело не пойдет. Есть ведь еще музыканты — те, с которыми Вадим играл и пел в разных группах — в клубах, в ресторанах. Они определенно что-нибудь о нем слышали, что-нибудь знают. И, самое главное, — есть ведь Люба, и, по словам Лены, Вадим вернулся к ней, к своей жене. К первой своей любви... к той умнице-однокласснице, красивой, собранной, нацеленной на всё серьезное: лучшую литературу, лучшую музыку, настоящую учебу, захватывающую работу.

Ну, конечно, Люба. Вот с ней и нужно встретиться. И всё, всё узнать... И выслушать всё, что она скажет о Вадиме. И посоветоваться о том, чем он, отец, может и должен — не разговорами, не увещеваниями — а реально, действительно помочь своему сыну.

Евгений Степанович знал, что Люба работает в Национальном Банке, что никакие этнические чистки ее не коснулись, более того, именно она, прекрасно владеющая английским языком, была направлена на полугодовую стажировку в одно из Европейских отделений Мирового Банка, квартирующееся не то в Лондоне, не то в Мадриде. В трудные для себя годы разрыва с Вадимом она, не расслабляясь, а с удивительной в молодой красивой женщине отрешенностью от таких естественных житейских соблазнов целиком отдавалась работе, чем завоевала у одних — за-

служенный авторитет, у других — репутацию расчетливой карьеристки. С тем большим изумлением позвонивший для начала в банковский Инфоцентр Евгений Степанович узнал, что Люба уже больше года как в банке не работает. Ничего дополнительно коллега-информатор сообщить не мог, а, может быть, и не имел права. Немногим больше узнал Евгений Степанович от непосредственного шефа Любы, зам. управляющего банком, которому представился по всей форме, рассчитывая произвести должное, располагающее к общению впечатление. Расчет, вроде бы, оправдался, но услышал он лишь то, что Люба действительно из системы Национального банка выбыла на другую работу... А вот куда именно и на какую работу — об этом зам. управляющего ничего определенного сообщить не мог. А, может быть, не хотел и не мог. Чему, наверное, были какие-то непонятные — таинственные и веские причины.

Остались музыканты — к ним и направился под вечер Евгений Степанович в неплохой ресторан, расположенный на границе сравнительно молодого, но замечательно разросшегося парка, по нынешним временам изрядно запущенного. Со ступенек при входе в ресторан, рассчитливо поставленный на самом краю живописного склона, спадающего к большому озеру с тускло-серой и как бы загустевшей по-осеннему водой, отчетливо виднелся в косом замирающем закатном освещении далекий безлюдный пляж и такой же опустелый причал, на мостках которого присмирили игрушечно мелкие, перевернутые вверх дном лодки.

Евгений Степанович пришел в очень удачное время: посетителей было еще немного, музыканты уже собрались, но перед выходом традиционно «слегка заправлялись» в углу зала, за столиком возле невысокой площадки с придвинутым к стене пианино, с динамиками, расположенными по краям площадки, с модернизированным электронно-акустическим имитатором ударной установки и выставленными в ряд тремя стульчиками с прислоненными к ним, готовыми к работе инструментами.

Евгения Степановича встретили приветливо и, догадываясь о каких-то семейных проблемах, даже участливо. О Вадиме понаслышке знали все, но по-настоящему был с ним знаком худенький, невысокий чернявый и кудрявый скрипач по имени Давид. Он некоторое время играл с Вадимом в одной группе и даже приятельствовал с ним, навещался к нему в гости со своей подругой, очень уважал его жену Любу, не одобрял связь Вадима с весьма «расторженной» певицей и был очень доволен, когда прослышал, что Вадим вернулся к своей жене. Давид и задержался на несколько минут с Евгением Степановичем, когда его коллеги заняли свои рабочие места и, соблюдая строгий дипломатический этикет, открыли выступление фантазией на темы местного фольклора.

Что же нового узнал Евгений Степанович о Вадиме за те несколько минут, в которые уложил свою информацию Давид прежде чем устремится на площадку, где ему предстояло солировать на скрипке в нескольких музыкальных эпизодах им же скомпонованной «фантазии»?

Самыми важными и во всех вариантах совпадающими были слухи о том, что Вадим то ли с женой, то ли за женой куда-то уехал. Начиная с этого пункта, слухи расходились. По одной версии, Любу забрали туда, где она в свое время стажировалась — то ли в Лондон, то ли в Мадрид. Ну а Вадим будет как-нибудь устраиваться на новом месте, на худой конец — личным шофером у жены. По другой версии, Люба нашла хорошее место то ли в России, то ли в Белоруссии, в этом случае у Вадима тоже появлялись шансы для более достойного применения своих способностей. Была и такая трагически-бесшабашная версия: Вадим попросту сорвался куда глаза глядят, а Люба, бросив всё, последовала за ним, чтобы или спасти его, или вместе с ним и погибнуть.

Самым неприятным во всех случаях было то, что ни одну из версий проверить не удавалось, а, значит, не было и никакой возможности вырваться из замкнувшегося круга безответных вопросов.

А жизнь... давно ли она так круто — на сто восемьдесят градусов! — переменялась, но как же всё вокруг сразу стало другим, и люди стали другими, подчас до неузнаваемости. И понятно, что всё другое и все другие, по непреложным законам неизбежно меняясь, будут необратимо становиться более и более другими, с какими-то своими представлениями о плохом и хорошем, и для сходящего, в общем, со сцены Евгения Степановича, отыгравшего и первый свой тайм, и второй, и уже подобравшегося к милостиво отпущенному ему дополнительному времени, одним из самых важных прощальных вопросов был именно вот этот, о плохом и хорошем. Сохранится ли в них, в этих понятиях хоть что-нибудь из жизни прошлой, — хотя бы в таком, неявном, косвенном признании ее относительной ценности? Или же новые ориентиры, с тем же сто восьмидесяти градусным оборотом, полностью, под чистую вытеснят ориентиры прежние, так что такие, как он сам, запоздалые, которые из-за растерянности или упрямства не смогли или не захотели стать другими, — они свое дополнительное время будут доигрывать в изолированном одиночестве?

И, в таком случае, какой же из него «учитель жизни»? Чего нынче стоит его опыт и личный пример? Могут ли те цели, ради стремления к которым избавлялся он от проклятья, собирал все свои силы и даже ломал судьбу первой своей спутницы и первенца-сына, — могут ли нынче эти цели иметь хоть сколько-нибудь жизненно важное значение и оправдание? А ведь никаких других целей, кроме самоутверждения в любимом деле, кроме сознания бесполезности этого дела в общем потоке жизненно необходимой людям работы, — кроме этих странно, смешными устарелыми призывами звучащих императивов он ничего назвать, а, тем более, предложить не может. Так пусть же и доживает с ними свой затянувшийся век в реликтовой отрешенности, пусть бьется над неразрешимой загадкой — каким же это заклинанием удалось перекрыть тот, казавшийся вечно могучим, поток? И пусть благоразумно сторонится того, вырвавшегося из-под спуда на волю, другого потока, победительно сметающего со своего пути последние остатки последних препятствий...

Вот Евгений Степанович и доживал, и дорабатывал, ни на что уже не надеясь, но все-таки проявляя самому себе удивительное, неведь каким образом прорезавшееся у него благоразумие, пытаюсь с его помощью растянуть отпущенное ему дополнительное время и стараясь убедить себя, что это растягивание необходимо для того, чтобы не уйти раньше того сакрального часа, когда он, несмотря ни на что и всему вопреки, сможет все-таки для чего-то непустячного пригодиться. И тут, конечно, самым первым был сын. Но он же был и оставался самым далеким...

А что было ближе? Семья, разумеется. Жена-учительница русского языка, — поддерживать ее, страдающую тяжелым диабетом, становится в новых условиях всё труднее и труднее. Девочки, окончившие школу, — им так и не удалось поступить в те вузы, куда они с детства стремились. Старшая, победительница многих олимпиад по английскому языку и литературе, не пробилась в университет на соответствующий факультет, устроилась с горя на телефонную станцию, учится заочно в институте связи, — оно вроде бы и неплохо, но обида, как себя ни уговаривай, на всю жизнь так и останется. Ну, а младшая дочь, своевременно с помощью старшей разобравшись в том, какие «гонорары» или равноценные им протекции необходимы для поступления в медицинский институт, сразу же подала документы в педагогический институт и стала студенткой художественного факультета, поскольку вторым ее, после медицины, серьезным увлечением было рисование.

Девочки повзрослели, имеют женихов. Свадьба старшей с ее сокурсником-заочником, техником-связистом на еще работающем винницком заводе, уже назначена на весну будущего года. Друг, а теперь жених

младшей дочери — в Америке, они с бракосочетанием не торопились, парень хотел сперва получше устроиться. Начал-то он свою заокеанскую карьеру грузчиком в большой типографии крупного издательства. Но за год освоился с языком, и вот недавно переведен оператором на автоматическую линию цветной рекламной продукции: самостоятельно изучил техническую документацию, с помощью приятеля-москвича, уже работающего на линии, подготовился к экзаменационным тестам и сдал их с первого же захода. Теперь дело за немногим: доработает до отпуска, да и прилетит к невесте, чтобы увезти ее уже женой...

Кажется, тут-то можно было бы хоть чуточку успокоиться. Но нет, успокоиться уже не получится никогда, и дело даже не в этой на вечное беспокойство обреченности, а в том, чтобы не было хотя бы уж изматывающего чувства вины, тем более горькой, если осознается она безусловно непоправимой. Вот от этого чувства и труднее всего — нет, не избавиться, а пусть бы попросту отвлечься, заслониться хоть на недолго какой-нибудь уважительной заботой — такой, уклониться от которой было бы по меньшей мере недостойно, а то и вовсе уж непростительно.

Вот почему — хотя и не только поэтому — с каким-то облегчением и, более того, с радостью ухватился Евгений Степанович за предложение съездить в двухдневную командировку на Металлургический завод по приглашению на юбилейный праздник предприятия — в связи с десятилетием со дня успешно проведенной здесь первой плавки.

### 3

Приглашение было не персональным, его переслали из Министерства строительства, куда с завода направили несколько безымянных приглашений — так же, как и в некоторые другие ведомства и, наверное, в местное правительство. Это не удивило и не обидело Евгения Степановича: Слава Богу, что его шеф, авторитетный местный литератор, бывший в годы строительства и пуска «Огненного цеха республики» собкором «Литературной газеты», не забыл, что его нынешний зам. провел на этом строительстве более трех лет и, пожалуй, не будет случайным человеком на знаменательном празднике. Единственное, что нескрываяемо беспокоило шефа, — необходимость обеспечить своего посланца транспортом. С этим и в лучшие годы было негладко, а по нынешним временам и вовсе проблематично: не оставаться же ему, первому лицу, на целые двое суток без личной машины, да при этом еще ведь придется оплатить ее пробег чуть ли не в три с лишним сотни километров и командировку шофера. Ситуация такая, что хоть сам отправляйся, чтобы не жалеть о расходах, но мешает загвоздка: на том левом берегу великой местной реки бывший собкор бывшей «Литературки», мягко говоря, непопулярен, возможная встреча с людьми, хорошо помнящими его заслуги в борьбе за независимость республики (и, в частности, против подрывающей эту независимость промышленности, недопустимо насыщенной русскоязычными кадрами), может создать ненужную напряженность в событии, в котором, как, очевидно, выяснил шеф, положительно заинтересованы оба конфликтующих берега.

Затруднение разрешилось очень просто — звонком Министру строительства, с которым Евгений Степанович был когда-то всё по той же ударной стройке знаком и которого министром вынужденно назначили после многих неудачных кадровых экспериментов. В трубке прозвучало любезное предложение подхватить Евгения Степановича, но, правда, только на завод, — остаться и на второй день, хотя уже и не деловой, а исключительно праздничный, Министр не мог: сами понимаете — дела, дела... Такой вариант Евгения Степановича не встревожил, а откровенно обрадовал: будет с кем и о чем поговорить в длинной, почти двухчасовой дороге туда. А уж обратно кто-нибудь да сжалится, подберет, — вон сколько, оказывается, туда разного начальства отправляется.

Накануне командировки Евгений Степанович с утра растолкал срочные дела, изучил по интернету нынешнюю ситуацию на заводе и, попросившись с шефом, в самом начале обеденного перерыва отправился домой. По дороге снова возвращался мыслями к тому, что успел узнать, восполняя многолетний информационный пробел: фактически отделившийся от республики левый берег жил своей, во многом загадочной жизнью. Многословные анализы этой жизни, излагаемые местными политическими комментаторами, доверия не внушали, а собственной работой был Евгений Степанович погружен в экономические проблемы республики — в ее сложившихся на сегодняшний день структурах и границах, в ее подчас беспомощных потугах найти себя и свой путь в непостижимо хитроумной рыночной стихии.

Дома еще никого не было. Он разогрел себе картофельное пюре с парочкой сосисок, выпил крепкого чаю с вкусными сухарями — подсушенными в духовке остатками слегка зачерствевшего по вине жены и младшей дочери хлеба (всё еще боятся поправиться, хотя самым главным инструментом похудения стала скудеющая «потребительская корзина»), и заторопился в свой кабинет, где сразу же взял с верхней полки углового стеллажа свою старую тонкую книжку в уже успевшей пожелтеть бумажной обложке, а с нижней полки этого же стеллажа извлек довольно увесистую папку с рукописью другой, неизданной книги, написанной им вслед за той тонкой, изданной.

#### 4

Так и просидел, то читая, то вспоминая, то раздумывая, то делая заметки в блокноте до поздней ночи, даже от ужина отказался. Только взял в кабинет чашку растворимого кофе и пирожок с творогом, — жена принесла несколько, с повидлом и с творогом, пирожков из школьной столовой, доживающей свой век на неохотные и скуповатые спонсорские подачки.

Сначала показалось, что и книжка, и рукопись, расшевелив в памяти вроде бы и не такое уж далекое, но необратимо оторвавшееся от новой реальности прошлое, помогут — вопреки этому разрыву, обрыву временной связи — не воскресить, разумеется, а хотя бы в какой-то мере, хотя бы отдаленно дать почувствовать человеку сегодняшнего дня ту атмосферу дружного воодушевления, объединительного подъема, которая наперекор естественным и неизбежным в любое время трудностям и проблемам становится главным условием любого созидательного человеческого усилия и успеха.

Такое чтение и подсказанные им заметки были, по сути, чтением и заметками не столько для себя, сколько для тех, для своих и других, кому его готовящийся рассказ о командировке предназначался. Но постепенно он стал осознавать, что каким бы замечательным, каким бы и по-человечески, и общественно ценным ни казалось ему то, что он не только наблюдал, но и в чем по мере своих возможностей участвовал, то, что он в силу этого участия пережил, то, что из этого участия и из этого пережитого вынес, — сегодня не нужно. Не так, чтобы уж абсолютно никому, но единицы — не в счет, а в целом — не нужно, как, скажем, стали ненужными рыцарская гордость и честь в воцарившемся мире денежного измерения всех ценностей, которые по такой причине сразу же ценностями быть и перестали.

Такое осознание радостным не назовешь, но и трагического в нем ничего не прослеживается — оно если и было, то раньше, на переломе, но, как ни странно, даже и тогда трагическим не ощущалось. «Так жить нельзя» — этим, вроде бы, всё было сказано прямо-таки с исчерпывающей убедительностью, а ответом на вопрос о том, как, собственно говоря, жить можно и нужно, был яркий до ослепления пример того, как живут — не вникая в детали — в самых лучших странах... Ну а для



достижения этого примера только одно и требуется: нетерпеливое, осятанелое желание, в помощь которому ничего из старого не пригодно, потому что оно старое. А новое — так оно только и ждет, томясь от нетерпения, чтобы как-нибудь самому собой появится.

Дальше по этому пути Евгений Степанович в размышлениях не пошел: тут всё и протоптано, и вытоптано — и с пользой, а больше без пользы, но с душевной потребностью в некоей, как нынче говорят, виртуальной справедливости. Важнее и настойчивее оказался несколько неожиданный для себя самого личный интерес к тому, а как он сам в этом всё и этим всем — в этой стройке и этой стройкой — жил? Что в нем самом менялось — если менялось, от чего избавлялся — если избавлялся, в чем укреплялся — если укреплялся, что приобретал — если приобретал, и, несмотря ни на какие передраги, сохранил — если действительно сохранил?

Пытаясь ответить самому себе на эти вопросы, Евгений Степанович несколько раз возвращался к самому началу тонкой книжки, где он, как бы остановившись на пороге, единственный раз попытался определить смысл своего выбора именно для себя, а не «в общем и целом»... Это объективно-обобщенное — «в общем и целом» — видение сразу же «за порогом» и уже до самого конца книжки и рукописи становится как бы единственно возможным, и лишь теперь осознается им одномерным, по-человечески недостаточным.

Так, может быть, хотя бы сегодня взять эти несколько первых абзацев в качестве главного для себя ориентира в новой встрече с тем, что когда-то началось и состоялось у него на глазах, а нынче наверняка стало другим, в первую очередь требующим от него, как и тогда, своего, личного отношения?

Ведь можно, наверное, и сегодня, как и тогда, начать рассказ от первого лица». Неужели сегодня так не получится? Ведь тогда — получилось? Вот, взгляни-ка еще раз...

*«Как-то морозным декабрьским вечером встретился на троллейбусной остановке у Дома печати с редактором республиканской газеты. И он, словно бы зная лучше меня, что мне нужно, предложил поехать в длительную — три-четыре года — командировку на строительство самого крупного в будущем предприятия республики — Металлургического завода.*

*А дня через три на «Волге» только что утвержденного начальника стройки, я побывал на ее площадке, представился в генподрядном стройтресте, после чего заехал в малосемейное общежитие — взглянуть на выделенную мне на период командировки однокомнатную малометражку. Комендант — солидная дама в пыжиковой шапке, теплом полупальто и вельветовых брюках, заправленных в теплые сапоги, — встретила меня на крыльце последнего в пятиэтажном ряду здания, провела на третий этаж, отперла дверь с крупно написанным на ней карандашом номером «46» и примечанием помельче — «Подтекает радиатор».*

*Комендант вошла первой, убедилась, что на крошечной кухоньке под тем самым подтекающим радиатором заботливо подставлена стеклянная баночка, и, вручив мне ключ от квартиры с обещанием «подтекание — устранить», «необходимую мебель и газовый баллон для кухонной плиты — завезти», удалилась, оставив меня один на один со всеми моими волнениями и сомнениями в пустой комнатке с большим окном и застекленной дверью на балкон.*

*Стараясь не наследить на чисто вымытом линолеумном полу, я сделал несколько шагов и оказался на неожиданно просторном балконе.*

*Дом стоял метрах в двадцати от края высокого обрывистого берега. Внизу под ногами, там, где кончался обрывистый склон, гудел и шипел, окутанный облаком пара, сахарный завод, распространяя сильный за-*

пах распаренной свеклы. А дальше и еще ниже, за заводом, виднелась широкая река и далекий ее правый берег, тоже высокий и холмистый. Необычно сильные декабрьские морозы сковали реку льдом — торосистым, припорошенным снегом, тусклым от пыли, которой припудривает всё в округе расположенный рядом с новой стройплощадкой крупный цементный комбинат.

Зимние пейзажи в этих краях не так роскошны, как в центральной России, — не хватает снега, не достаёт леса... Но здесь перед моими глазами развернулась картина, покоряющая даже не столько красотой, сколько поразительным, всё одухотворяющим простором, убедительным сочетанием прекрасной мелодии древней реки, ее притихших, словно бы погруженных в глубокие думы холмистых берегов, и — этого современного ритма заводов, городских кварталов, рельсовых, бетонных и асфальтовых дорог... «Ну, конечно же, надо остаться», — подумал я и подавил невольное желание произнести это вслух: таким зовущим был запахнувшийся перед глазами простор, таким захватывающим дух было в нем нетерпеливое и просторное ожидание подступающих больших, важных и нужных перемен...»

Да, это правда, — в который раз подумал Евгений Степанович. Да, он искал этого простора, хотел его, он стремился к нему, он его ощущал, он жил им и в нем... И он бережет это ощущение как самую большую ценность своей жизни. И надеется... хотя бы память о нем сохранить, сберечь до последней своей минуты.

## 5

Проехали, не останавливаясь, мимо Министерства строительства — судя по множеству разномастных и разнокалиберных вывесок по обе стороны парадного входа в здание, ведомство основательно потеснилось: то ли впустило на все этажи шустрых квартирантов, то ли — случается и такое — само перешло на положение квартиранта у подшустривших новых хозяев.

Министр без признаков нетерпения стоял у подъезда Национального Банка, на часы посмотрел уже в машине, после того, как поздоровался с Евгением Степановичем. Потом кивнул взглянувшему на него шоферу, тот включил скорость, и скромная по нынешним временам черная «Волга» плавно тронулась в путь. Министр чему-то усмехнулся и, не оглядываясь к спутнику, пояснил свою, должно быть, показавшуюся ему самому слишком громкой усмешку:

— Заглянул у Управляющему, чтобы лично снять возможные трения там, куда мы едем. Он тоже приглашен — прибудет с помощником и с бумагами... Интересная ситуация: с нами и другими правобережными клиентами завод ведет расчеты через Национальный банк, а с левобережными клиентами — через банк Левобережный.

— Любопытно! — Евгений Степанович, готовый вступить в разговор, даже слегка подвинулся на своем заднем сидении поближе к Министру, но тот лишь коротко подтвердил — «Да» и, включив радиоприемник на волне местного вещания, прервал последними известиями еще не завязавшееся общение.

Евгений Степанович прислушался — насколько он мог понять, диктор как раз рассказывал о юбилее Металлургического завода, о его успехах и, в частности, о том, что в дни подготовки празднования знаменательного десятилетия стало известно, что какая-то авторитетная Ассоциация металлургических предприятий Европы наградила завод Почетной Бриллиантовой Звездой за весомый вклад в развитие европейского сталелитейного и сталепрокатного бизнеса. Тут бы в самый раз и разговориться: давно ли Правый берег тщетно пытался военной силой усмирить и подчинить себе левобережных «мятежников», давно ли оста-

новился смертоносный обмен оружиевыми, автоматными, пулеметными очередями и даже артиллерийскими залпами... И вот, пожалуйста, вполне корректная информация, без ставших традиционными проклятий в адрес поборников теперь уже своей, левобережной независимости — от не признающих ничей, кроме своей собственной, независимости патриотов Правобережья.

Если бы Министр выключил приемник, то Евгений Степанович непременно попытался бы закинуть пробную реплику об услышанном, но... известия продолжались, становясь всё менее значительными и интересными, потом началась литературная передача — стихи местных поэтов в авторском исполнении. Тут Евгений Степанович отключился — так далеко в понимании титульного языка он еще не дошел. Его, правда, несколько удивило, что Министр никак не отреагировал на столь заметно изменившийся характер передачи... должно быть, просто не замечает ее, задумавшись о чем-то своем. Евгений Степанович перевел взгляд на дорогу и — тоже задумался, а, вернее, засмотрелся, захваченный и сегодняшним волнением и ожившими воспоминаниями.

Великолепная стратегическая бетонка перелетала с холма на холм без единого отклонения от прямой линии, повелительно требуя хорошей скорости — такой, чтобы, торопясь, словно прозябнув под снизившимся холодно-серым осенним небом, набегали и убегали, набегали и убегали опустелые поля и виноградники, сады и рощи, лесополосы и проселки, глубокие, заросшие кустарником, овраги и тусклой, припотевшей сталью отсвечивающие озера. Сколько же раз проезжал он этой дорогой в те памятные годы, когда добровольно привязал себя к огромной стройке, когда, отодвигая все сомнения, колебания, неуверенность в своих способностях и даже страх за результат своих усилий, снова и снова возвращался на этот круг, понимая не умом даже, а каким-то инстинктом, что именно на этих кругах закрепляются в нем и ощущение сброшенного, тяготевшего над ним, проклятья, и требующее простора чувство обретенной свободы.

Машина вылетела на вершущку самого высокого холма и, круто наклонившись вниз, заскользила к длинной плоской пряжке моста, скрепляющей прерванную надвое рекой виртуозно прямую светло-серую, сужающуюся в перспективе ленту дороги. Слева в отдалении виднелась перегородившая реку, упирающаяся в крутые берега и как бы даже раздвинувшая их, красивая гребенка плотины местной гидроэлектростанции, а за ней — широкая и глубоко, как морской залив, врзавшаяся в сушу голубовато-серая акватория водохранилища, протянувшегося отсюда вверх по течению реки на несколько десятков километров — до Metallургического завода и даже чуть выше, где сооружен водозабор, питающий водой и завод, и весь бурно разросшийся город.

Министр восторженно, выключил приемник, шофер тоже вроде бы слегка напрягся: машина, притормаживая, проехала у начала моста под первым, предупредительно поднявшимся зеленым шлагбаумом контрольно-пропускного пункта — военные с автоматами и в камуфляжной форме Национальной армии, взяли под козырек. «Интересно, как нас встретят на другом конце моста? — подумал Евгений Степанович. — Остановят, будут проверять, чего везем?» Он невольно покосился на свой, привычно собранный женой для командировки, походный чемоданчик. Но у второго шлагбаума всё повторилось в точности, как у первого: внимательные и сразу нечто распознавшие взгляды военных с автоматами и в похожей зеленовато-коричневой пятнистой форме; как бы сам собой поднимающийся, зеленоватый, в черную полоску, похожий на непомерно вытянутую скрепку шлагбаум; и даже по-военному отданная честь... Машина прибавила скорость, шофер чему-то коротко рассмеялся. Министр потянулся было к приемнику, но передумал, опустил руку. Евгений Степанович не выдержал, громко сказал, обращаясь не то к министру, не то к шоферу:

— Вот уж никак не думал, что всё так просто!

— Для кого просто, а для кого и не очень, — весело отозвался шофер.

— На нашей стороне машины с номерами их начальства тоже не задерживают. А всех остальных шмонают — будь здоров.

— Ну, и как это понимать? — удивился Евгений Степанович.

Шофер хотел было что-то сказать, но покосился на Министра и воздержался. Пауза затягивалась, вопрос, хоть и постепенно тускнея, всё еще висел в воздухе. Министр молчал. Может быть, размышлял над ответом, а, может быть, хотел, чтобы Евгений Степанович добавил что-нибудь к уже высказанному, тогда и ответить можно поточнее... Или поудобнее.

Евгений Степанович невольно пожал плечами, удивляясь такой очевидной осторожности. Вообще-то он помнил министра еще по стройке, там и познакомился с ним — Петр Андреевич Михневич в ту пору был управляющим самого крупного и самого передового в республике домостроительного комбината, им же самим, как бы для себя самого ударно построенного во втором по величине и значении городе республики, ставшем столицей левого берега этой вот, ныне пограничной реки.

Петр Андреевич Михневич стал появляться на регулярных совещаниях руководителей генподрядных и подрядных организаций где-то на втором году стройки, когда его комбинат начал поднимать девятиэтажки поселка металлургов на большой подготовленной площадке — на берегу реки, с высокой красивой набережной, начинающейся от великолепного транспортно-пешеходного моста, соединившего два зеркально расположенных по обе стороны реки небольших города — словно бы специально для того, чтобы они естественно срослись в один эффектный двукрылый город. Евгений Степанович как-то даже расспрашивал Михневича, есть ли у строителей какие-то возможности несколько оживить внешний вид довольно однообразных, возводимых ими зданий. Оказалось, что возможностей немного, но они есть, и ни одна из них строителями не будет упущена. Разговор получился коротким, строго по делу, — таким был стиль Михневича, за это его выделял и ценил начальник стройки, первый заместитель Министра строительства той, советской республики Юрий Богданович Запорожец. Через несколько лет, как рассказывали при встрече знакомые строители, Запорожец так и уговорил Михневича, так и добился в высоких кругах его назначения заместителем министра строительства. Все ждали, что после успешного ввода в эксплуатацию Металлургического завода Запорожца сделают министром, а Михневича, соответственно, передвинут на место его первого зама. Однако Юрий Богданович неожиданно и очень тяжело заболел, отошел от дел... А тут всё как раз закружилось, завертелось, затрещало, посыпалось — посылнее и в чем-то даже пострашнее, чем во время землетрясений... И о смерти еще совсем молодого, даже пятидесятилетия не успевшего отметить, Юрия Богдановича узнал Евгений Степанович чуть ли не через полгода после того, как этого любимца строителей всей республики уже похоронили.

Вот теперь Михневич возглавил агонизирующую, по сути дела, отрасль хозяйства, которое само расплзается по всем швам. Интересно, а как он себя чувствует в этой роли? На честолюбца и карьериста он не похож, Запорожец никогда бы такого к себе не приблизил. Министром он, наверное, мог бы стать и на левом берегу — его комбинат, хоть и не с прежним размахом, но работает, для этого в непризнанной республике есть главное: и цемент, и металл — оба завода, цементный и металлургический, так и действуют рядом. Более того, он бы, наверное, мог от всех этих разборок между говорящими и не говорящими на государственном языке вообще уехать на родину, в Белоруссию, и работать там веселее, чем здесь, общаясь с земляками на родном языке, — белорусский акцент в его речи, кстати говоря, прослушивается совершенно отчетливо. Но что-то его удерживает здесь... вряд ли некогда почти неотразимый, а

нынче изрядно увядший и померкший набор местных соблазнов: фрукты, овощи, вино...

Машина сдвинулась к правому краю бетонки и, заметно притормаживая, свернула на боковое ответвление, а по нему — на обычное асфальтовое шоссе, бегущее вдоль реки и соединяющее между собой в одну связку все города Левобережья. «Сейчас будет село Роги, — вспомнил Евгений Степанович. — именно Rõgi, а не Rogá. Хотя... — он усмехнулся, — хотя Rogá — было бы, наверное, еще оригинальнее».

Он присмотрелся и, заметив у поворота на узкую местную дорогу знакомую табличку, громко и с улыбкой поделился несколько неожиданным, надо полагать, для министра воспоминанием.

— Как-то проезжали здесь в машине Запорожца — он, случалось, подвозил меня то на стройку, то домой — и я обратил его внимание на любопытное название села — Rõgi... Во-он, туда дорожка побежала... Юрий Богданович сперва сказал, что мало чего замечает вдоль шоссе — не до того. Но через несколько минут вдруг говорит: «А ведь Rõgi — звучит! Так же, как доги, налоги, пороги... Боги, наконец. Но назовите — Rogá... Смешно!»

Почувствовал поддержку — и шофер, и министр заинтересованно усмехнувшись — Евгений Степанович с удовольствием продолжил — он вообще всей этой поездкой, всей этой дорогой был настроен на воспоминания, ну, а Запорожец в них — особая тема.

— Не мне вам, Петр Андреевич, рассказывать, каким специалистом был Юрий Богданович. Но что я подмечал в нем в силу своих занятий — вот этот вкус слова, вкус добротной построенной фразы, быстроту мысли при внешней неторопливости речи... Я не сразу сообразил, как это у него совмещается — неторопливость и быстрота. Точностью! Ни одного лишнего слова — и все в цель.

— Да, — поддержал Михневич. — Летучки, планерки, совещания он проводил, как никто. Железный регламент, железная четкость — для всех, начиная с себя самого...

— И юмор, юмор! Без улыбки, на полном серьезе! — подхватил Евгений Степанович. — Помню, уже ближе к финишу озабоченно сообщает собравшимся командирам всех участков фронта работ: «Товарищ Гришка дал мне трехдневный срок на устранение недоделок в зоне разливки стали. Теперь моя очередь ставить последние сроки вам». Все переглядываются — да кто же этот товарищ Гришка, который так строго спрашивает с начальника стройки? А Запорожец как заявил, так и ведет анализ ситуации и принятие решений — всё под установленный товарищем Гришкой срок. И лишь в самом конце кто-то сообразил: прибывший из Липецка к первой плавке бригадир литейщиков — и есть таинственный товарищ Сергей Гришка.

— А помните, Петр Андреевич, — вступил в разговор и шофер, — возил Юрия Богдановича такой пожилой хохол? На пенсию ушел... Сажусь вместо него за руль. Запорожец глянул на меня и — серьезно так: «Да, отъездил я с грехом пополам...» И тут до меня дошло: это же шутка. Фамилия водителя-пенсионера — Грех!

— А как он в музыке разбирался! — Евгений Степанович был рад рассказать то, о чем еще никому не рассказывал. — Я ведь с ним познакомился не на стройке, а в филармонии. Причем, не знал, кто он — просто оказался со мной рядом красивый и могучий, модно одетый, с великолепной шевелюрой молодой мужчина. Я был один, жена в школе какое-то мероприятие проводила, взяла с собой билет, но чувствуя, что не успевает на концерт, отдала его молодой учительнице. Так эта учительница — довольно симпатичная — всё на моего соседа поглядывала, но в наш с ним разговор ни в антракте, ни после концерта так вступить и не решилась. А концерт был сольный, пел бывший студент нашей консерватории, которого буквально после выпускных экзаменов забрали в Москву — прямо в Большой театр. И там — одна за другой лучшие пар-

тии: Алеко, Дон Базилио, Борис Годунов, Мефистофель, Дон Карлос... Голос — чуть ли не второй Шаляпин, и даже внешностью схож. Помните его, конечно, — Огницын. Ну вот, мой сначала о нем, а потом чем дальше — тем увлеченнее... Вижу, мой собеседник получше меня в певцах разбирается, к тому же голос у него звучный, чистый. Спрашиваю — уж не певец ли он сам? Засмеялся: «Нет, строитель». Я как-то ему об этой встрече напомнил. Оказывается, он тоже ее не забыл.

— Да, пел он исключительно, — подтвердил Михневич. — Мало, кто его слышал, но мне повезло. Скажу больше: он мне кассету подарил — на ней романсы, арии... А на пианино ему мама аккомпанировала... Он о себе почти ничего не рассказывал. Но по отдельным деталям я понял, что он из Питера, из семьи музыкантов. Рос без отца. Школу с медалью окончил. Мама хотела, чтобы он пошел в консерваторию, а он решил стать строителем — и стал. Конечно, он бы и певцом себя показал. Но я считаю, что именно в строительстве он раскрыл всё, что ему было богато природой отпущено. Меня всегда интересовал один вопрос: а есть ли в нашем деле хоть что-нибудь, чего он не знает?

Разговор прервался так, будто каждый в этой машине, летящей вдоль высокого берега над широкой, по-осеннему хмуро-темноватой, холодной рекой поискал ответа на свой такой же вопрос, да и невольно расширил этим поиском круг далеких и недалеких, радующих и огорчающих, разгорающихся и затухающих воспоминаний.

## 6

Странно и как бы противоестественно, что ли, но — чем ближе конец пути, чем короче и короче дорога к цели — тем сильнее и непонятнее волнует и, кажется, даже пугает скорая и определенно реальная с ней встреча. Отчего так? Наверное, дело вот в чем: очень уж не хочется увидеть всё совершенно не таким, каким оно хранится в памяти. Не внешне, разумеется, — завод в общих чертах, скорее всего, мало изменился, — не хочется увидеть, почувствовать его другим по сути своей — как всё, чем нынче заполнена жизнь.

Ведь какая это была удача, какой подарок судьбы — ощутить себя свободным, способным, наконец-то, взяться за большое, серьезное дело и — получить это дело. Огромное, сложное, захватывающее, разумно нацеленное в будущее, требующее всех сил — и тех, которые уже известны и как бы даже измерены, и тех, о которых и сам не подозреваешь, а они — есть, а их, оказывается, много, на удивление разных, и чем больше их требуется, тем больше их и появляется.

Ну, конечно, жизнь и тогда не везде была такой, какой уникально состоялась на этом берегу в те — ныне стремительно удаляющиеся — годы... Что-то лучшее, что-то еще живое в ней сфокусировалось для этой, может быть, уже последней вспышки, и кто-то, для этой вспышки предназначенный, ею стал — для всех, кто к нему потянулся и кого она озарила.

Уцелела ли, сохранилась ли хоть в чем-нибудь эта яркая, незабываемая исключительность — вопреки очевидной ущербности нового времени, как бы обреченного лишь множить и множить слова, имитирующие энергию, изначально не способные превращаться во что-либо значимое, осмысленное, прочное, долговечное, необходимое?

Нет, не забыть той ночи, когда после первой плавки, после большого ужина — с вдохновенными тостами, с прочувствованными, порой даже со слезой в голосе, поздравлениями и крепкими мужскими объятьями, с благодарственной речью директора завода и напутственным ответом начальника стройки — при разезде по домам Евгений Степанович, видя, что Запорожец к машине своей направляется в одиночестве, как-то вдруг шагнул в его сторону и с неожиданной странной уверенностью попросил: — А, может, и меня подбросите?

И Запорожец — тоже с неожиданной готовностью — указал на заднюю дверцу своей «Волги»:

— Садитесь. Но — с условием: без разговоров. Я сегодня наговорился и наслушался... до следующей стройки.

Так и молчали всю дорогу — только тихо гудел мотор. И радио не включили, хотя было оно, как всегда у хозяина, настроено на волну с хорошей музыкальной программой. Врывался в приоткрытое им окно свежий ветер, шевелил его пышные волосы, гуляли в салоне удивительно отчетливые в темноте свежие запахи земли, растений, речной воды и временами еле уловимого дыма то ли с берега — от рыбацкого костра, то ли из села — от чьей-то поздней баньки...

И было понятно, что так и надо — помолчать, отдохнуть и подумать. О чем? Да обо всём. Обо всём, что вместилось в эту большую, заслуженно заработанную усталость.

А следующей такой стройки не было.

И, похоже, не предвидится.

## 7

— Вот вас удивило, как спокойно мы проехали через мост, — неожиданно напомнил министр. — А ведь причиной тому те, кто построил такие электростанции, фабрики и заводы, без которых никакой власти не обойтись. Левый берег провозгласил независимость, но он никем не признан, а ведь даже для любой поездки за пределы своей узкой полоски левобережью нужен паспорт, признанный на государственном уровне. Сегодня там в ходу любые, какие кто, где, когда, каким образом достал паспорта. В том числе — и даже главным образом — правобережные, в особенности у начальства, которому нужен международный статус. Могло бы Правобережье воспрепятствовать использованию его паспортов? Да. Но тогда бы у него начались болезненные перебои подачи, например, электроэнергии — основные ее источники на левом берегу. Это — одна из крупнейших в бывшем Союзе ТЭЦ. Это — гидростанция, мы ее видели. Вот и приходится идти на компромиссы по типу вы — нам, мы — вам. Ну и, конечно, свободный правительственный проезд по мостам. И вообще — через все наши общие и необщие границы.

— Как я понимаю, — радуясь своей проницательности, заторопился Евгений Степанович, — Металлургический завод — тоже одна из причин таких компромиссов?

— В общем... — министр с ответом не торопился. — В общем — да... Но с ним ситуация похитрее.

Он еще помолчал — наверное, решал, надо ли раскрывать случайно, по сути, попутчику — эту, должно быть, не рядовую хитрость непростой ситуации.

— Об этом не стоит много говорить, — министр, по-видимому, избрал уклончивый вариант. — Я ведь вам для того и направил персональное приглашение на юбилейный сбор, чтобы вы своими глазами присмотрелись ко всему, что там будет происходить. Нынче время такое... нет ничего надежнее личного мнения, личного опыта.

— Вы сказали — персональное приглашение? — невольно удивился Евгений Степанович. — Но мне шеф передал открытку с незаполненным именем приглашаемого... То есть, на усмотрение фирмы. Скажу честно, меня это даже немного обидело. Как никак, а я всё-таки тоже в числе тех, кто был и работал на стройке от первого, как говорится, колышка до первой стали и первого проката.

— На заводе, как видите, отчет ведут не от первого колышка... Я на них не в обиде. Они постарались, как лучше: прислали нам, строителям, дюжину безымянных приглашений. Я продиктовал кадровику — у него красивый почерк — какие приглашения заполнить, а какие не заполнять. И себя, конечно, не забыл, — усмехнулся министр. — Вашей фир-

ме предусмотрели одно лично для вас и одно незаполненное, на усмотрение вашего начальника.

— Он, видимо, взял первое, что в руки попало, да и передал мне, — невольно заступился за своего шефа Евгений Степанович. И вернулся к тому, что было интереснее и важнее: — Но я надеюсь, о Юрии Богдановиче на этих торжествах не забудут? То есть, строители о нем, конечно, в случае чего, напомнят, но хотелось бы, чтобы устроители и сами всегда помнили о том, что Запорожец не просто возглавил, организовал, привел это строительство их предприятия к успешному завершению, но — был в числе тех, кто вообще решал, быть или не быть этой стройки. И если быть — то где именно, в каком месте... Выбранном, как мне кажется, именно им — с удивительной предусмотрительностью.

Михневич оглянулся, посмотрел на Евгения Степановича, как тому показалось, с некоторым удивлением... впрочем, как опять-таки показалось, уважительным.

— Вот и я примерно так же думаю, — поддержал он, должно быть, непривычно пылок для министерского слуха высказывание. — А ты, Василий, — он с улыбкой перевел взгляд на шофера, — как думаешь?

Тот тоже с улыбкой покосился на министра, потом, слегка приподнявшись, взглянул в зеркальце заднего вида на Евгения Степановича.

— Всё правильно... Я ведь видел у Юрия Богдановича вашу книжку. Не знаю, как она ему... Он при мне ничего о ней не говорил. А я где-то ждал его... долго ждал. Взял от нечего делать. И так почти всю и прочел. Скажу о том, что более-менее запомнилось... Неплохо у вас про бетонщиков, про монтажников, про сталеваров рассказано... Про девочек — тоже... Крановщица красивая. Лаборантка симпатичная. Как они на стройку рвались, как ребят хороших подобрали. Прорабы, начальники управлений тоже у вас при деле... Проблемы решают, соревнуются. Высокое и самое высокое начальство мелькает — без него, понятно, не обойтись. Есть и о Запорожце... Но — мало. Мне и тогда так показалось. А сейчас вот вас послушал и опять думаю: мало о нем писали, мало говорили. То есть, не мы... Мы-то ему цену всегда чувствовали. Ну ладно, что было, — проехали. А как теперь быть? Вот вопрос. С этим я согласен.

Шофер Василий переключил скорость — машине предстояло одолеть довольно крутой подъем. Министр снова обернулся. Коротко, с улыбкой взглянул на Евгения Степановича:

— Ну, как наш рецензент?

— Отлично! Будем работать!

Министр повернулся к дороге. Евгений Степанович хотел еще что-то сказать, но слова не сложились, да в них, наверное, и нужды особой не было — пришла минута подумать. А тут и шофер Василий неожиданно стал притормаживать выбравшуюся на вершину холма машину и громко сказал:

— Вот здесь, когда мы с Юрием Богдановичем в последний раз в этих краях побывали, он сказал мне остановиться... Вышел из машины, перешел на ту сторону дороги и долго стоял возле вон того ореха... И всё смотрел, смотрел туда... вниз...

— Тормози! — дрогнувшим голосом скомандовал Михневич.

Василий нажал на педаль, машина, как бы споткнувшись, остановилась. Михневич выбрался первым и сразу направился к отбившемуся от орешника к самому краю крутого холма крупному, по-осеннему голому ветвистому ореху. Немного приотстав, последовал за ним Евгений Степанович. Шофер тоже вышел на обочину, но остался у машины.

— Так вот оно в чем дело... — подумал Евгений Степанович, взглядываясь туда, куда в последний раз глядывался Запорожец — в огромную панораму заполненного туманным воздухом простора, сквозь тяжелые осенние облака освещенного утренним солнцем — неярко, но со всеми подробностями... Вот они — бурые холмистые берега широкой реки с маленьким речным пароходиком, уползающим под высокую и длинную,



пологую арку моста, протянувшегося над шероховатой из-за мелкой ряби, темно-серой и непрозрачной водой... Как бы осыпающиеся по волнистому склону к мосту кварталчики и домики правобережного городка, большая часть которого — по другую, не видную сторону холма. И — чуть ли не втрое разросшийся за последние годы левобережный город... Вон там, вдалеке, где река теряется за преградившей ей путь холмистой грядой, виднеется речной порт с торчащими в разные стороны тонкими черными стрелками кранов, мелкими скорлупками пароходиков и катеров. Там же... нет, чуть ближе, берега стягивает четкая ажурная строчка железнодорожного моста. Еще чуть ближе — окутанный паром сахарный завод. Прямо над ним, на краю холма выстроились мелкие на таком расстоянии пятиэтажки общежитий... в той, самой крайней, на третьем этаже жил сам Евгений Степанович, а почему-то на первом этаже — сам так захотел — в двухкомнатной малометражке жил Запорожец... Первым уезжал на стройку, последним возвращался. Правда, днем приезжал на перерыв, обедал — всегда один, кажется спал — не больше часа. И опять — в работу...

А вот, еще ближе придвигаясь, возникают станция железнодорожная и маленький вокзал... постепенно укрупняются кварталы, улицы, появляется площадь с кружками фонтанов и зданиями понаряднее... Чуть пониже — правильный прямоугольник поселка металлургов — четкие ряды девятиэтажек, прямые улицы с широкими тротуарами и рядами по-осеннему прозрачных деревьев вдоль них. И, конечно, любимое место горожан — просторная, приподнятая над широченной водой бетонная набережная, с мелкими киосками и едва угадывающимися на таком расстоянии скамеечками... А вот начало промышленной зоны — сначала небольшие производственные здания с площадками для техники, потом покрупнее... еще крупнее. Мощный цементный комбинат с высокими серыми бетонными цилиндрами элеваторов. И, наконец, ощутимо значительный, как смыслообразующий центр, — четко, будто выполненный в трех измерениях чертеж... нет, как идеально выстроенный макет, — знакомый и уже словно бы знакомый Металлургический завод. С вонзающей в низкие облака черной иглой главной трубы. Громадными, отдувающимися дымком и паром зданиями сталелитейного и прокатного цехов. С компактной грузовой железнодорожной станцией — краны, платформы, вагоны... С мощной, окруженной высокой металлической сетчатой оградой электроподстанцией — гирлянды художественно совершенных фарфоровых изоляторов, прямые и косые штриховки проводов, причудливые изыски ребристых трансформаторов и похожих на грифы гигантских электрогитар разводных коммутаторных шин...

И хотя движение, создаваемое людьми, и сами они в туманной картинке постепенно насыщающегося светом утреннего простора еще почти не просматриваются, но присутствие людей — угадывается, чувствуется, ощущается в свежем холодном воздухе тончайшими, почти неуловимыми изменениями его особенного осеннего настоя, слабыми колебаниями едва летающими и замирающими в нем звуков.

— Наверное, он хотел раствориться и остаться в этом просторе навсегда, — подумал Евгений Степанович.

## 8

*Никогда не ездил в «Мерседесе»,  
ты меня не спрашивай о нем...*

Переделка не ахти какая, но все ж юморная, а настроение соответствующее, к улыбкам и шуткам расположенное, и «Мерседес» — вот он. Подъехал, остановился и ждет... Кого? А его — Евгения Степановича.

С чемоданчиком и нарядным фирменным заводским кулком сувениров — неловко распахнуть зеркально сверкающую дверцу, как можно естественнее проговорить любезное приветствие на местном языке

и — быстрее на заднее сидение, чтоб не испытывать терпение хозяина — Губернатора Национального Банка, а если по-простому — то Управляющего НБ.

Машина бесшумно сдвинулась с места. Евгений Степанович приник к затененному стеклу, всё в том же приподнятом настроении, но и с тревожной грустью провожая взглядом солидное восьмизэтажное здание заводууправления Metallургического, с площадкой перед ним, уставленной разномастными автомобилями начинающих разъезжаться гостей юбилейного праздника.

Впрочем, некоторые из гостей, у которых именно суббота самый важный рабочий день, когда они разбираются «во всем, что натворили за неделю», распрощались с гостеприимными металлургами еще вчера вечером. А вот чем-то до крайности, до несходства с самим собой возбужденный Михневич решил остаться на заводе до понедельника, а, может, и подольше. Однако про Евгения Степановича при всем том не забыл: договорился, что его доставит на своем транспорте не как-нибудь, а прямо к дому, не кто-нибудь, а, образно говоря, «главный банкир» республики. По правде говоря, было тут чему удивиться — и решительности Михневича, явно шагнувшего не по субординации, и поразительной уступчивости «главного банкира», не только допустившего подобное обращение к себе, но даже согласившегося, мягко говоря, столь отважную просьбу исполнить.

— Ну, как? Всё гуд? Всё окей? — вежливо, громко и, будем считать, по-русски поинтересовался, не оглядываясь, хозяин комфортной машины.

— Всё очень хорошо! — охотно отозвался Евгений Степанович, отрываясь от окна. И, готовый поделиться впечатлениями, добавил: — По-моему, и официальная, и неофициальная части были организованы очень продумано. Успехи реконструкции просто поразительны. Но, конечно, главное событие праздника — сегодняшнее сообщение директора о том, что вопрос выделения банковского кредита на расширение прокатного цеха решен положительно. Неужели ему действительно позвонили об этом только в пятницу вечером?

— Да, — несколько недовольным тоном подтвердил Управляющий. — Он сразу же дал мне знать об этом. А сегодня утром финансовый директор завода — он с этим проектом работает в Германии, в банке, инвестирующем металлургические предприятия, — позвонил обо всем подробно и мне... На следующей неделе получим соответствующие документы. Кредит, конечно, будет проходить через нас, — эту итоговую фразу Управляющий произнес довольным тоном и потянулся к трубке радиотелефона. — Да, через нас, — с тем же удовлетворением повторил он, набирая номер.

Евгений Степанович поняливо откинулся на широкую удобную спинку сидения, непринужденно и невнимательно прислушался к началу разговора местного банкира с кем-то на другом конце радиосвязи. Должно быть, субботний день (а тем более его вторая половина) уже не располагал к непосредственным служебным и деловым общением, тем более к ним не располагает воскресенье, которое местная элита предпочитает проводить в родственном или дружеском кругу — свободном от предписанных ей высоким её положением условностей. Вот почему в телефонном разговоре лишь как бы конспективно мелькали упоминания о деловых контактах с нужными людьми самого высокого ранга, — в предварение более основательных — после «уикенда» — личных встреч в их просторных кабинетах.

«Намекнуть, что ли, Губернатору, что я, хоть и не ахти как, но всё же государственный язык освоил? — подумал Евгений Степанович. И успокоил себя: — Во-первых, не очень-то это вежливо — беседовать в моем присутствии на своем языке, считая меня заведомо неспособным к его пониманию. А, во-вторых, он, скорее всего, ничего конфиденциального по телефону не скажет. И вообще... мне бы в своих мыслях разобраться...»

Вот и выехали за могучие, из собственного проката, художественно сконструированные ворота. Отсюда — два пути. Один — по широкой улице вниз, через центр города, к поселку металлургов, а потом на другую широкую улицу, вверх по склону уже застроеного холма, — она переходит в то шоссе, по которому приехали сюда вчера утром.

Второй путь — узкая бетонная дорога вдоль составленного из бетонных панелей высокого заводского забора, по краю рощицы, густо и высоко поднявшейся на месте памятного Евгению Степановичу длинного и глубокого, как горный каньон, оврага, засыпанного землей из громадных котлованов, вырытых под фундаменты сталелитейного и прокатного цехов. Засыпанного после того, как бригада Валерия Сахнина в рекордные сроки уложила по дну оврага широченную бетонную трубу, с тех самых пор пропускающую всю разрушительную массу воды, что сбегает с заводской площадки и окружающей территории во время проливных гроз, затяжных дождей, изобильного таяния снега. Эта дорога по окраине города выводит на шоссе кратчайшим путем. Шофер «Мерседеса» хотел, кажется, на нее и свернуть, но — проехал мимо: посреди узкой бетонки красуется знак: «Дорога закрыта. Ремонтные работы».

Евгений Степанович удивился себе: с чего бы так заинтересовался он этим знаком? И догадался: тут не обошлось без нетерпеливого Валерия Сахнина. Ведь он буквально изнывал от желания поскорее взяться за эту дорогу — переместить ее к самой опушке рощицы, на бывший край его усилиями ставшего бывшим оврага. И сразу же передвинуть к дороге заводской забор. И на основательно расширившемся участке между забором и длиннейшей и высоченной стеной прокатного цеха немедленно начать самую главную для Валеры работу: подготовку фундаментов для расширения цеха и для установки нового прокатного стана.

Интересно, что об этом грандиозном по нынешним временам проекте Евгений Степанович как раз от Валерия и узнал, а директор попозже лишь подтвердил эту информацию, дополнив ее победной новостью о том, что финансирование проекта — дело решенное. Удивительно, как дружно — чтобы, наверное, не сглазить — все на заводе хранили в тайне от гостей этот необыкновенный проект. Валера тоже бы не проговорился, но Евгений Степанович — свой ведь человек, к тому же обещал до поры помалкивать... И помалкивал, пока директор, почувствовав надежную опору под ногами, сам не рассекретил масштабные стратегические планы, уже, оказывается, и продвинутые: проектный институт в Днепропетровске выдал задание на разработку полной документации строительства и монтажа линии листового проката — с обоснованием инвестиций, принятых, как уже сказано, банком для кредитования. Более того, планами завода заинтересовались поставщики прокатного оборудования Германии и Италии, России и Украины.

Тут, конечно, из зала посыпались вопросы: «Какая организация поведет строительство?», «Кто его возглавит?», «Как относятся к проекту на правом и левом берегах?» «Когда начнете выпуск новой продукции?»...

На эти и на подобные вопросы директор завода — все такой же коротко стриженный, слегка насупленный, массивный и медлительный, почти не изменившийся с тех пор, когда впервые на заседании штаба стройки занял место за главным столом, рядом с Запорожцем — дал, в конце концов, один общий ответ:

— Потерпите. Сам еще не во всем определился. Вернется наш финансовый директор. Соберем руководство. Может, из вас кое-кого пригласим. Тогда на вопросы и ответим. Не только словами. Делом.

Вот уже отодвинулись назад завод со своими корпусами и кранами, с вытянувшейся высоко в небо узкой трубой, а вот уже и вовсе исчез из бокового окна, и побежали назад вслед за ним цеха, склады и краны помельче, и уже проехали промзону и, замедлив скорость в пестрой субботней суеде городского и личного транспорта, пересекают центральные перекрестки четко спланированных кварталов, неспешно, словно давая возможность окунуться в воспоминания, двигаются мимо всегда восхищавшей Евгения Степановича оригинальной площади с вереницей затейливых фонтанов, — здесь любили играть девочки, когда жена привозила их летом в гости к отцу... Проехали мимо по-осеннему серовато-блеклого сквера — вон там, возле длинной, с выгнутой спинкой скамьи в конце аллеи, вечерами по субботам и воскресеньям собирались местные поэты — юные и молодые, и даже не очень молодые, читали сами или доверяли прочесть свои стихи о любви и природе, о ворвавшейся в их жизнь огромной стройке... А довольно немолодой кадровик местного горторга как-то даже разрешился целой поэмой о разворачивающей страну перестройке. Интересно, сохранилась ли традиция? Жаль, не спросил Евгений Степанович об этом у заведующей библиотекой металлургов Нины Федоровны Омеляновой, — встреча с ней была такой теплой, душевной, ведь он в те далекие три года постоянно навещался к ней в большую уютно оформленную комнату с длинным столом и книжными полками у стен — читальный зал общежитий на первом этаже того дома, где тогда жил Евгений Степанович.

Проехали мимо многоэтажного поселка металлургов — по великолепной бетонной набережной вдоль прямо-таки неправдоподобно широкой реки с далеко и мелко прорисованным правым берегом, его задернутыми прозрачной голубой дымкой рыжеватыми холмами... и устремились вверх, раскрывая за окном всё больше и больше простора — и речного, и прибрежного и необъятного воздушного, очерченного волнистой линией горизонта, пронизанного смягчающимся светом клонящегося к закату солнца.

А вот и конец подъема, вот промелькнул за окном у края верхушки холма тот самый орех, широко и вольно раскинувший свои гладкие обнаженные ветви, хранящий память о большом и сильном человеке, когда-то прощавшимся здесь с этим, преображенным им простором...

Неужели всего два неполных дня прошли с той, позавчерашней остановки здесь, возле этого ореха? Но сколько же вместились в них — ожиданий и узнаваний, неожиданностей и неузнаваний, волнующих встреч с прошлым и настороженных знакомств с нынешним... Как много непонятного во всём — в ощущениях и впечатлениях, в тревожном волнении и даже в каком-то уж вовсе необъяснимом предчувствии чего-то — меняющего, может быть, всю жизнь... Как удивительно это странное состояние как бы одновременного пребывания в том, что было и ушло, — и в том, что пришло, что есть, что происходит или готовится произойти... И как избирательно, с наибольшей полнотой и яркостью проявлялось всё это всякий раз по-своему: у сталеплавильной печи, в прокатном цехе, в немногих встречах с неслучайными людьми.

Сюда, к этой громадной, гудящей и пышущей жаром, похожей на гигантскую кастрюлю, мелко вибрирующей от напряжения печи Евгений Степанович стремился как к самому безоговорочному подтверждению главной страницы своего прошлого.

Гостям — их, как положено, экипировали круглыми красными касками с темно-синими светофильтрами — показали, как варится сталь...

И Евгений Степанович, которому довелось когда-то увидеть это чудо в этой же печи в тот самый первый раз, в тот первый день и час его сотворения, с трудом дождался, когда же, наконец, поднимут печную заслонку, и он убедится, что прошлое может повториться в настоящем — и в целом, и даже во всех мельчайших подробностях.

Ну, конечно же, — вот она, сталь, жидкая и тяжелая, как ртуть, ослепительно голубая, подернутая клубящимся синеватым дымком. Сотрясается всей своей светящейся, сияющей поверхностью, всей своей огненной массой, всплескивает невысокими плотными фонтанчиками, бьет тяжелыми ключами, клокочет и напряженно — с шипящим треском гудит, поглощая энергию сверхмощной электрической дуги, воистину рукотворной молнии — бесстрашно укрощенной и смело направляемой по-деловому озабоченными сталеварами.

Да, всё так, как было и в первой плавке... с той разницей, что до нее не было ничего, а эта плавка — какая по счету? Пятитысячная? Или — больше? И нынче в этой же самой печи выплавляют стали вдвое больше, чем в первые годы!

И в прокатном цехе, где так же, как при пуске, стремительными длинными огненными стрелами пролетают от клетки к клетке сто сорок метров пути по рольгангам раскаленные прутья арматуры и таким же белым жаром пышущие фигурные полосы фасонных профилей — и там то же непроизвольно возникающее осознание новизны, которая в том, что хозяева цеха — сосредоточенно-напряженные люди в красных касках и брезентовых спецовках — каким-то удивительным образом заставили эти огненные линии выдавать вдвое больше арматуры и катанки, уголка и швеллера, чем тогда, чем в то, еще не прервавшееся время.

Наверное, Евгению Степановиче просто хочется и хочется удивляться, потому что почти не слушает он объяснения о реконструкции, об автоматизации и компьютеризации всех процессов, охваченных единой системой программного управления всеми цехами и службами завода. Да и зачем всё это слушать, отвлекаясь от захватывающего зрелища, от таинственно и властно увлекающих за собой ритмов поразительно слаженного, единого действия громадных машин и таких небольших и немногочисленных на этом грандиозном фоне людей? Зачем — не вглядываться и не вслушиваться в окружающее, зачем делать ненужные усилия, чтобы понять пространные объяснения, когда все они есть в выданном гостям проспекте с подробной биографией и обстоятельным анализом всех достижений предприятия?

Нет, Евгений Степанович и дома, и по пути сюда, и здесь, на заводе, с нарастающей уверенностью чувствовал, что совсем непростая выпала ему командировка, и не в том дело, что ему нужно будет о ней рассказать — это, как говорится, дело техники. А есть в ней какой-то знаковый смысл, какой-то момент нового поворота его судьбы, подобного тому, который он уже однажды здесь пережил. И потому он должен внимательно вглядеться и вздуматься в те события, а вернее — в те встречи, когда переживал он самый высокий душевный подъем, когда ощущал приближение к чему-то исключительно важному, почти прикасался уже к ответу на какой-то мучительно застарелый, но странно обновившийся здесь вопрос.

Кроме того цельного и высокого напряжения, какое испытал он у сталеплавильной печи и возле прокатного стана, было еще две встречи, к которым он возвращался снова и снова, не отпускавшие его почти магическим единством прошлого и настоящего... А, может быть, еще и этим единством обусловленного будущего?

Кто же эти люди, вместившие в своем прошлом и настоящем так много того, чего никакие объяснения специалистов никогда не касались и не коснутся?

Валерий Сахнин и Нина Омельянова.

Евгений Степанович заглянул в читальный зал как раз в тот момент, когда Нина Омелянова прикрепляла кнопками к небольшому, обведенному красной рамкой, фанерному листу объявленный обыкновенный лист писчей бумаги с крупно и старательно начерченным на нем сообщением о выступлении человека с необычайными способностями — Валерия Сахнина, которое состоится в пятницу, в 18:00 в красном уголке и на которое приглашаются все желающие.

— Обязательно приходите, — с воодушевлением сказала Нина Федоровна.

Евгений Степанович смутился, неловко пожал плечами. Не хотелось ему пренебрегать советом уважаемого человека, но... во-первых, он в эту пятницу наметил пораньше уехать домой, а, во-вторых, уже запланировал побывать на участке бетонирования коллектора ливневых вод, где набирала ударные темпы бригада этого парня, Валерия Сахнина, — там с ним и познакомиться.

Видя, что Евгений Степанович колеблется, Омелянова настойчиво, более того, с убежденной требовательностью повторила:

— Обязательно приходите. Вы должны это увидеть.

— Ну, если должен... — развел он руками, сдаваясь.

В красный уголок общежития он пришел минут за пятнадцать до начала выступления — и правильно сделал: большинство выставленных рядами стульев были уже заняты.

Сам Валерий — невысокий, широкоплечий, русоволосый, со светло-голубыми глазами и рыжеватыми «туцульскими усами», в черном фраке и белой манишке, в черном цилиндре и черных лакированных туфлях, возился с нехитрым реквизитом, не делая тайны из своих приготовлений. Впрочем, время от времени он выходил на балкон, откуда доносились странные звуки: словно бы там, на балконе, кто-то методично, предмет за предметом, крушил большой — ну, скажем, обеденный, на двадцать четыре персоны — сервиз.

Но вот Валерий взглянул на свои командирские ручные часы, обвел глазами заполненное до отказа помещение. И громко объявил:

— Начинаем!

В светлом проеме балконной двери появился Саша Мельник — инженер-гидролог, а по совместительству комсомольский вожак и успешный приобрести популярность на стройке гитарист и любитель «бардовских» песен. Он прошел в угол, где стоял стул с лежащей на нем гитарой, взял ее в руки, попробовал струны, присел на стул и выжидательно затих.

Представление началось.

Сначала Валерий показал несколько фокусов с газетой. Разрывал ее, сжимал в комок обрывки, а потом разворачивал газету целехонькой. Искусно жонглировал ею — и свернутой в трубку, и как-то странно развернутой и одеревеневшей, точно лист фанеры.

Далее пошли номера похитрее: Валерий пронзительным взглядом и размеренными командами сначала усыпил двух девушек в первом ряду и парня за их спиной — высокого красивого монтажника. Дал им поспать, показывая в это время фокус с веревкой, которую как ни резал ножницами, никак разрезать не мог. А потом стал будить заснувших и, пока они просыпались, связал всё той же веревкой парня-монтажника с его бодрствующей, но слабо сопротивляющейся соседкой, симпатичной отделочницей, — да так, что они никак не могли распутаться и развязаться, чем очень развеселили собравшихся, дав повод для множества шуток, которые парню и девушке явно понравились.

Все это время местный бард тактично наигрывал на гитаре, а в небольшом перерыве спел две песни Визбора, давая передохнуть слегка запыхавшемуся Валерию. А передышка ему была нужна, ведь за пле-

чами у Валерия была полная рабочая смена, да к тому же под жарким августовским солнцем.

Перед последним номером Валерий обратился к зрителям с краткой речью.

— Сейчас я должен буду раздеться... до пояса, — он ободряюще улыбнулся застеснявшимся девушкам. — Последний номер состоит в том, что я ложусь спиной на битое стекло, лежу на нем пару минут и поднимаюсь — без порезов и даже царапин. На некоторых людей это зрелище иногда действует очень сильно. Поэтому тех, кто не уверен в своих нервах, я прошу заранее отвернуться или даже совсем выйти из помещения.

Валерий, улыбаясь, поискал взглядом слабонервных, готовых отвернуться или покинуть помещение, — таковых в красном уголке не оказалось. Напротив, и парни, и девушки, всем своим видом, равно как и поощрительными репликами, выразили нетерпеливое желание поскорее подвергнуть свою нервную систему готовящемуся суровому испытанию.

— Тогда — порядок, — кивнул зрителям Валерий. — Приступаю.

Он вытер лицо белоснежным платком, сунул его в карман и стал раздеваться, с явным облегчением снимая и аккуратно складывая на столик свой фрак, белую манишку, манжеты и серенькую, с номером 5 на спине, футболку. Цилиндр он водрузил на стопку вещей последним. Пожалуй, в таком виде — до черноты загорелый и необыкновенно мускулистый — Валерий выглядел гораздо естественнее и убедительнее, чем в явно его стесняющем фраке.

Вместе Сашей-гитаристом он расстелил на полу простыню, затем они принесли с балкона два ведра битого бутылочного стекла — темные, поблескивающие острыми изломами осколки — аккуратно ровным слоем рассыпали их на простыне. Эти приготовления, это битое стекло, ранящее как бы даже своим беспощадным видом, заставили присутствующих почувствовать, что шутки кончились, дело принимает серьезный оборот.

Валерий обошел несколько раз вокруг простыни, как бы примериваясь и настраиваясь на то, что ему предстояло совершить. Было видно, как под гладкой загорелой кожей у него напрягаются и каменеют мышцы спины. Вот он остановился, еще раз примерился и сел рядом со стеклом, спиной к нему, а затем, не торопясь, аккуратно улегся на осколки, широко раскинув руки и напряженно улыбаясь запрокинутым вверх лицом. Кто-то из девушек не удержался и тихо ахнул.

Валерий полежал с полминуты — молча, не двигаясь — а потом тем же напряженным голосом скомандовал Саше:

— Людей на грудь!

Видимо, кандидатуры людей были подобраны заранее, потому что Валерин ассистент сразу же поднял уже знакомого красивого монтажника и еще вывел из третьего ряда двух похожих, как братья, плотных бетонщиков. Затем расставил их вокруг лежащего Валерия, предложил им разуться, объяснил, что надо делать. И вот они, по команде взявшись за руки, все трое разом встали Валерию на грудь и, покачиваясь, с трудом сохраняя равновесие, постояли на его широкой и крепкой, как стальная плита, груди. Постояли не меньше минут, пока — опять же по команде ассистента — не спрыгнули на пол с явным облегчением и нескрываемой опаской.

— Руки! — хрипло приказал Валерий.

Бетонщики протянули ему, нагнувшись, руки, он взялся за них и, не делая никаких лишних движений, одним рывком отделился от пола и быстро, на прямых ногах поднялся сразу во весь рост.

Собравшиеся дружно и громко зааплодировали ему, но тут Валерий повернулся к зрителям спиной — и аплодисменты прервались.

Стекло, на котором он лежал, не то, чтобы впилось, а как бы вдавилось в тело — зримо, глубоко, нигде, однако, не оставив проколов или порезов кожи. И теперь Саша-гитарист с несколько показным хладно-

кровием начал деловито считать эти осколки со спины Валерия вниз, на пристыно, самым обыкновенным хозяйственным веничком.

Вот теперь аплодисменты грянули с утроенной силой.

Кто-то крикнул:

— А на гвоздях — тоже сможешь?

Валерий повернулся на голос. Лицо у него уже расслабилось, только крупные капли пота всё выступали и выступали на лбу. Он кивнул:

— На гвоздях — легче.

— А у тебя разрешение на такие эксперименты имеется? — строго спросила комендант общежитий, видимо, ругая себя за потерю бдительности.

— Есть, есть, — успокоил ее Валерий. — В армии выдали. В специальных войсках. Там начал тренировки. Стало получаться. Увлёкся. Себе кое-что доказал. Но — не всем.

Это последнее его признание как-то затерялось в многоголосом, восторженном и долго, долго не смолкающем шуме.

На следующий день утром, торопясь на маршрутный автобус, Евгений Степанович всё же завернул в читальный зал — а вдруг Нина Федоровна уже там, хлопчет, раскладывая свежие газеты и журналы.

Он не ошибся, Омельянова расставляла на длинном столе только что привезенные новые настольные лампы.

— Потрясающе! — воскликнул с порога Евгений Степанович. И, рассмеявшись, уточнил: — Это я о вашем Валерии. Но и об этих лампах — тоже.

— Вот видите, — едва ли не с материнской гордостью отозвалась Нина Федоровна. — А вы колебались... Вообще-то Валера уже прекратил такие выступления. Семья. Но главное — захватила его эта стройка. А вот на ваше счастье, — она, улыбнулась, — решил напомнить о своих способностях... Вы, наверное, слышали его слова — «себе доказал, но не всем»?

— Слышал. И даже подумал — к чему бы это?

— О, тут такое дело... И Саша, наш секретарь комсомольский, тоже замешан. Собственно, это его идея — чтобы Валера напомнил о своих выдающихся способностях. Он ведь хочет во что бы то ни стало на главных объектах отличиться... И Саша его поддерживает. Но в сталеплавильном цехе все фундаменты опытным бригадирам, орденоносцам раздали. А Валерия коллектором успокоили: сдашь его на отлично — получишь фундаменты в прокатном цехе. Ребята сразу сообразили, что тут простой расчет: никак не успеет Валерий с огромным коллектором к началу бетонных работ в этом цехе управиться. А он, фактически, успел!

— Да, на штабе стройки сам Запорожец об этом говорил, — подтвердил Евгений Степанович. — В понедельник сам директор завода принимать работу будет. Я сейчас домой еду, но к такому событию постараюсь не опоздать... А вот, какой стороной к нему выступление Валерия относится — что-то не улавливаю.

— Я же говорю: это Сашина идея — встряхнуть всех, чтобы было понятно: Валерий Сахнин со своей бригадой должен показать себя не где-нибудь, а на самом ответственном участке.

— Но ведь ему это и обещали?

— Да. Но у парткома — своя кандидатура, у профкома — своя. И ничего не возразишь — люди достойные. А того, что Валерий способен их расклад потеснить, никто не ожидал. Разговоры идут, что вроде бы уже поздно... Но работы в цехе — еще не начаты... Вот Саша и предложил Валерию «продемонстрировать свою уникальность».

— Отчаянное решение, — покрутил головой Евгений Степанович. — Но... боюсь, оно не только не поможет... а, скорее, даже вооружит кое-кого против Валерия.

— Так вот и я об этом ребятам говорила, — расстроилась Нина Федоровна. — А Саша — в ответ: «Вы можете предложить что-нибудь другое?»



— Н-да... — расстроился и Евгений Степанович. — Предложить нечего.

Так, расстроенный и уехал.

## 13

А в понедельник к Валерию на коллектор он всё-таки опоздал — упустил всех, кто бы мог подхватить его с собой в служебных машинах на стройку, пришлось добираться автобусом, неторопливо двигаясь от остановки к остановке. Опоздать-то опоздал, но самого интересного всё же не пропустил: поспел как раз к тому моменту, когда возглавляющий группу проверки директор завода выбрался из коллектора на верхнюю площадку и стоял, отдуваясь, в ожидании своих сопровождающих. Рядом с ним спокойно стоял ничуть не запыхавшийся и, похоже, не сомневающийся в результате проверки Сахнин.

— Они с самого низа... минут сорок поднимались! С фонарями — видите? С приборами — стенки ультразвуком просвечивали! — восхищенно пояснил Евгению Степановичу эту сцену кто-то из соратников Валерия.

— Еще бы! — в благодарность за информацию поддержал парня Евгений Степанович. — Этот коллектор... Это же самая главная мера безопасности и для стройки, и для завода!

— Ну, мы-то это понимали! — подтвердил польщенный соратник.

Евгений Степанович дождался самого главного: директорского решения о приеме коллектора и директорской оценки его качества — «отлично». Дождался он и момента подойти к директору, поздравить с успешным завершением очень важной работы и, как нельзя кстати, вернуть несколько слов о том, что небывало высокие ее темпы вызваны горячим желанием бригадира и бригады получить один из ответственных участков бетонирования фундаментов в прокатном цехе.

Директор насупился, бросил недовольный взгляд на Евгения Степановича.

— Как вы думаете, стал бы Запорожец советовать мне, какую бригаду сталеваров поставить на первую плавку? Или бригаду прокатчиков на пусковое опробование стана? Нет? Вот и я не полезу с подсказками не в свой монастырь. Еще вопросы?

Вопросов не было. Директор отвернулся, сделал рукой общий прощальный взмах и направился к своей машине.

Евгений Степанович постоял, кое-как справился с досадой на себя и на директора, восстановил приподнятое настроение и пошел искать куда-то исчезнувшего в рабочей суете Сахнина.

...В общежитие он возвращался поздно вечером, переполненный впечатлениями от разговора с Валерием. Хорошо, что не завел беседу с ним днем, — у бригадира забот «выше головы»: сворачивать все дела на объекте ничуть не легче, чем развернуть. А вот в конце смены разговор с усталым, но довольным бригадиром завязался сразу и по-настоящему, да таким без утайки открытым и прошел, и теперь, вспоминая, производя его в движении от начала до дружеского прощального, с такой полнотой чувств рукопожатия, до сих пор побаливает кисть руки, Евгений Степанович уже всем сердцем сопереживал желанию Валерия утвердиться в своем деле мастером такого класса, какой объединяет в себе и высочайшую квалификацию, и все разносторонние интересы, и все душевные порывы человека.

Шел он уже опустевшей улицей, задумался и не сразу понял, что блестящая даже в сумраке черная «Волга» притормозила возле него, проехала чуть-чуть вперед и остановилась, явно выжидая, когда он с ней поравняется. Передняя дверца распахнулась, из темного салона выдвинулся, приглашая рукой, Запорожец:

— Садитесь, подвезем!

— Да что тут идти осталось. Два шага... — Евгений Степанович в нерешительности остановился возле машины

— Садитесь! — Запорожец добавил в гостеприимную интонацию легкую озабоченность. — Дело есть... Так вот, — продолжил он, когда машина тронулась, — завтра к нам приезжает группа местных писателей, во главе со своим первым секретарем. С утра их поводим по стройке. По цехам. А после обеда небольшая экскурсия в город — поселок металлургов, новый мост, новый парк, новый спортивный центр, новый университет... И в заключение — обмен впечатлениями и мнениями в моем кабинете. С мной, с директором завода... Ну и парторг, профорг... комсорг. Приходите и вы, будете объективным свидетелем. Может, пригодится для истории.

— А кто в группе писателей, случайно не помните?

— Случайно помню, — усмехнулся Запорожец и, блеснув своей легендарной памятью, легко назвал несколько наверняка малознакомых ему фамилий.

— Одни поэты, — засмеялся Евгений Степанович. — Кстати, секретарь — тоже поэт. Надо бы в группу вашей поддержки... — Евгений Степанович аж задохнулся от гениальной находки, — тоже поэта включить. И я скажу, кого... Валерия Сахнина!

Запорожцу от неожиданности даже его железная выдержка изменила — не удержался от несколько нерешительного вопроса:

— Шутите?

— Да нет же! — обрадовался Евгений Степанович. — Я ведь как раз от него и возвращаюсь. Весь вечер проговорили. Сперва о работе — у него сегодня сам директор завода коллектор принял, с оценкой «отлично»... Потом — о фокусах и чудесах, которыми он недавно всех поразил. А потом он что-то о стихах сказал... я подхватил, он что-то прочел — интересное и неизвестное... меня и осенило: «Так это же твои стихи!» Он руками развел, вздохнул: «Вот... Еще и это. Не дай бог, Запорожец узнает...»

— А причём тут я? — удивился Запорожец.

— Так ведь разговоры идут, что вы не хотите его в прокатный цех пустить... Даже пошутили: «Нам на прокатной линии только фокусников-иллюзионистов и парапсихологов не хватает!»

— Что-то было... — смутился Запорожец. — Уж и пошутить нельзя.

— Конечно, можно. Но ведь кто-то хотел бы этой шуткой заслонить Валеру, отодвинуть его от серьезного дела. А у него всё-всё исключительно серьезно. Талантливо и серьезно. Даже стихи его — уж на что, казалось бы, неожиданное и не подходящее ему увлечение, а смотрите, как он заканчивает стихотворение — самому себе отвечая, что же это находит на него, что толкает в поэзию:

*Вся жизнь сошлась на стройплощадке  
Простого белого листа.  
И рифмы в мудром беспорядке  
Летят, как птицы из куста...*

Машина остановилась у высокого крыльца общежития. Евгений Степанович выбрался из салона первым, за ним — Запорожец. Поднял руку, прощаясь:

— До завтра!

— До завтра! — Евгений Степанович хотел еще что-то сказать, но удержался — и так был не в меру разговорчив. Он повернулся к следующему, своему крыльцу и — услышал заданный ему вслед вопрос:

— Так, говорите, это стихи Сахнина?

— Да, — быстро обернувшись, с готовностью подтвердил Евгений Степанович.

— Ну, пока, — не дал ему продолжить Запорожец. Махнул шоферу, машина, поблескивая, плавно покатила к выезду из поселка. А Запорожец стал медленно подниматься по ступенькам крыльца.

Интереснее всего было наблюдать за гостями-поэтами. Чувствовалось, что все они — кроме, может быть, секретаря, человека широких и трезвых взглядов, талантливого и на родном, и на русском языках, сдружившегося с Владимиром Солоухиным, — приехали во взвинченно-боевом настроении, еще и подогретом первыми же впечатлениями от могучего разворота уже реально зримого завода — с его уходящей под облака трубой, с его сумрачно-громадными корпусами, наполненными ослепительными всполохами электросварки и ее характерным запахом жженого железа, гулками раскатами непонятных тяжелых ударов, низким, со всех сторон наползающим рокотом мощных моторов, резкими и трескучими, пугающими предупредительными сигналами безопасности... Вдобавок к этому лишь с двумя или тремя на минутку оторвавшимися от работы монтажниками поэты смогли обменяться несколькими фразами на родном языке. Так что ни поселок металлургов, ни другие, для людей предназначенные новостройки, ни даже отличный обед с дружескими, в честь гостей, тостами — боевого настроения поэтов не умерил. Пожалуй, даже и разжег: ведь в недалеком уже будущем не только на заводе, но и в современном многоэтажном поселке, и во всех этих добротных и просторных «соцкультбытовых» новостройках вот так же, как сейчас, в этих шумных и сумрачных цехах, почти не встретишь родных по языку людей.

Нелегко было начальнику стройки, директору еще не действующего завода и «группе поддержки» устоять под таким напором. В какой-то момент дрогнули и партийный секретарь стройки, и ее профсоюзный лидер, и даже задиристый комсомольский вожак, пришел в замешательство даже решительный директор завода, потомственный липецкий металлург: признали, что огромное новое предприятие состав исторически сложившегося русскоязычного населения Левобережья в пользу «титальной нации» в ближайшие десятилетия не изменит.

— Более того, завод такую национальную особенность Левобережья даже укрепит, — задумчиво констатировал Запорожец. И, обращаясь к писателю секретарю, спросил с открытой дружелюбной улыбкой: — А, собственно говоря, что в этом плохого? Зачем теснить местный народ, создавать ему проблемы? Путь будет и останется здесь так, как было всегда. И слава Богу!

Обескураженные решительным отпором, поэты переглядывались, собираясь с силами для новой атаки. А их секретарь, явно обрадованный предложенным вариантом завершения грозящей перейти в скандал дискуссии, весело хлопнул в ладоши и шутливо посетовал:

— Но что лично меня и, наверное, моих коллег по-настоящему огорчает — исключительная сложность творческой переработки сегодняшних впечатлений в сколько-нибудь адекватную и в то же время полноценную художественную форму.

Запорожец понимающе и согласно кивнул и, всё так же обезоруживающе улыбаясь, с шутливой гордостью сообщил:

— А вот у нашего поэта, одного из лучших строителей, эта, как вы сказали, переработка, кажется, получается.

Слегка сдвинув брови, Запорожец что-то поискал в памяти, а затем, с явным удовольствием, произнес:

*Вся жизнь сошлась на стройплощадке  
Простого белого листа.  
И рифмы в мудром беспорядке  
Летят, как птицы из куста...*

Секретарь удивленно поднял брови, оглянулся на коллег, приглашая их порадоваться пусть скромному, но действительно неожиданному открытию, но, видя их довольно скептическую реакцию, повернулся к хозяевам.

— Я думаю, мы могли бы представить вашего парня на страницах

нашего русского журнала.

— Хорошо! — одобрил Запорожец. — Поручим это нашему консультанту по гуманитарным вопросам, — он солидно указал на Евгения Степановича, не сумевшего скрыть удивления новому торжественному названию своей, в общем-то простенькой должности.

— Между прочим, — серьезно, но с улыбкой в глазах, продолжил Запорожец, — этот парень вчера очаровал нашего требовательного директора отлично исполненным сложнейшим коллектором (директор сперва вскинул удивленный взгляд, а затем, уловив ситуацию, серьезно покивал, включаясь в игру)... Очевидцы рассказывают, этот парень еще обладает гипнозом и может лежать на битом стекле с вставшими ему на грудь тремя мужиками... Вот я и хочу с вами, дорогие гости, посоветоваться. Как вы считаете, достоин этот уникальный парень стать одним из тех, кому мы поручим вести ответственное бетонирование фундаментов прокатного стана?

— Я думаю — достоин, — охотно поддержал начальника стройки писательский секретарь. Поощрительно улыбнулся коллегам, и они, сохраняя на лицах всё то же скептически-недоверчивое выражение, все-таки присоединились к нему, всем своим видом давая понять, что делают это исключительно из уважения к его руководящей и направляющей роли.

— Обязательно отметьте в вашей хронике, — снова солидно обратился к Евгению Степановичу Запорожец, — что одного из лучших кандидатов для трудового подвига в прокатном цехе мы обсудили и утвердили вместе с нашими уважаемыми писателями.

Делая вид, что записывает в блокнот это указание, Евгений Степанович только сейчас заметил, что начальник стройки так ни разу и не назвал фамилии уникального кандидата — должно быть, чтобы не нервировать лишний раз своих впечатлительных гостей.

## 15

Дорога отодвинулась от берега реки, машина теперь бежала между дамами и виноградниками — безлюдными, пустынными, отсыревшими и как бы в потеках трех красок: бурой, серой и черной. Но скучновато-однообразная картина осеннего запустения уже не втягивала настроение Евгения Степановича в колею похожих однообразно-грустноватых мыслей. Не мешали ему и продолжающиеся с короткими перерывами телефонные разговоры Губернатора НБ с его многочисленными и, по-видимому, ожидавшими этих разговоров собеседниками. Яркие, сильные впечатления, которыми он был переполнен, все вместе требовали не простого расклада по полочкам, а таких прямых ответов на прямые вопросы, отложить которые было невозможно и даже нечестно.

Так что же такое — этот завод? Да, он тот же, что был, но он — новый. Новый какой-то особенной, собственной новизной. В которой удивительным образом соединилось что-то из нового времени и... сразу даже не скажешь, что... но определено и что-то из того, недавнего, в сущности, времени, когда он, этот завод, замыслился, выросал, воздвигался, обрел и доказал свою богатырскую силу.

Ну, конечно, это всё — из нового времени: кредит немецкого банка, прямые связи с зарубежными партнерами в пятидесяти странах СНГ, Запада и Востока, статус частного собственника, абсолютно самостоятельная техническая и финансовая политика, финансовый директор, ставший вторым после директора лицом, потеснивший даже главного инженера... Из нового времени и это: нет здесь партийных, профсоюзных, комсомольских организаций. Из нового времени — фантастическая автоматизация и компьютеризация, удвоившие выход стали и проката на тех же площадях, тем же оборудованием... Из нового — много новых, очень молодых людей, для которых такая новизна совершенно естественна, которые и живут настоящим и будущим.

А что же оттуда, из недавнего прошлого? Тут всё не так определенно, не так конкретно... если не считать самого завода, воздвигнутого — без преувеличения — трудовой армией рабочих и инженеров, возглавляемой прекрасным человеком, знающим, для чего и для кого он живет и что по-этому, и как ему нужно делать. Это ведь Валерий Сахнин сказал в своем юбилейном слове, что завод, по справедливости, следовало бы назвать именем Запорожца, и пусть это предложение не было принято сразу и единодушно — оно прозвучало и, значит, будет звучать как живой голос из недавнего прошлого, как его продолжение... и это — главное.

Да и сам Валерий — разве не оттуда? Крутой, не сломленный, такой же испуленно жадный к работе и так же, как и раньше, притягивающий к себе, точно магнитом, крутых и прямых парней... А Нина Омелянова? Она ведь тоже оттуда, спокойная и деловитая, в привычном темном платье со светлым воротничком, подчеркивающим ее прямую осанку, с гладкой прической седеющих волос и круглым их узелком на затылке, с добрым взглядом сквозь очки в металлической оправе, с маленькими золотыми сережками в ушах и — на еще не тронутой возрастом шее — золотой цепочкой с рубиновым кулончиком — подарком мужа-энергетика на тридцатилетие их свадьбы. А вот и голос ее — глуховатый, но увлеченный, молодой... и слова, будто припасенные для Евгения Степановича... «Нет, не всё оборвано, не всё. Вы же знаете, как это новое время беспощадно обошлось с библиотеками. Вдруг оказалось, что сами они никому не нужны, а нужны лишь их помещения. Но мы перекочевали сюда, в поселок металлургов, в три комнаты, получив, как видите, место и для книговыдачи, и для книгохранилища, и, конечно, для читального зала. Я и представить себе не могла, с каким интересом и как много придет к нам людей!»

А почему, почему? Почему везде, где ни бывал Евгений Степанович люди обходятся нынче и без библиотек, и без хороших журналов, без хорошей музыки и хорошей песни? Это всё и многое такое же им действительно не нужно? А нужно другое — агрессивное, безжалостное, назойливо-похотливое, наркотически прилипчивое и неотвязное?... Но вот — тот же глуховатый голос Нины Федоровны, ее настойчивое стремление объяснить хотя бы самое близкое — счастливую судьбу ее библиотеки... «А ведь, если вернуться к началу свалившейся на голову кутерьмы, то видно, как повезло нам на людей, решавших судьбу завода. Тогда не понимали мы, чем может обернуться для нас резиновое слово «приватизация». А эти люди сразу уловили его хитрости и объяснили, что если мы хотим иметь работу и нормальную жизнь, мы должны сохранить завод, — собрать всё, что сможем, и выкупить его, сделать народным. Ох, как много было охотников растащить все цеха, распродать, положить денежки в карман и смыться, куда подалее. А как косо смотрело начальство: нужен ли опасный прецедент? Но наши люди сумели и хитрецов оттеснить, и начальство уболтать, и получили мы акции своего завода, стали его хозяевами. Теперь убеждаемся: правильно сделали. Завод крепнет, богатеет — и нам с ним спокойнее, увереннее. Можем целый бывший совхоз нанять — сегодня как-то иначе он называется — обеспечить себя всеми продуктами. Можем и для себя строить, и для города. Учить детей, молодежь. Спортом заниматься. Книги читать. О библиотеке позаботиться...»

А Валерий Сахнин — когда встретились в прокатном цехе — он ведь тоже об этом говорил, вкладывая мятежную свою душу в каждое слово: «Как начался этот разброд, как стали разваливаться наши тресты да управления, подался и я, как многие, со своими ребятами, с бригадой, то есть, в неблизкие места, — стали дачи, особняки поднимать... они, как грибы после дождя, так кругом и полезли. Вкальваем, значит, по максимуму, а как получать, так — по минимуму. Ребята мои цену себе знают, обижаются. Да и я вижу: дома тяжело, но и в гостях не легче. Тут встречается нам мужик, агитирует на золото податься. Дескать, его нынче правдами и неправдами больше прежнего ковыряют — за сезон

на пятилетку заработаете. Но меня уже и так особняки достали, а тут еще и золото для ихних хозяев в тайге добывать? Ну уж нет, от такой работы, если по-божески, и руки отсохнуть могут. Короче, вернулся домой. И как угадал! Иду по улице — «Волга» сигналил. Мне? Останавливаю — из нее Михневич. Улыбается: «Вот ты мне и попался!» Останавливается, он меня искал — для заводского стройотряда, по просьбе директора, кадры подбирали. Как выяснилось — с перспективой: к большим делам завод готовили. К ним и привели...»

Нет, это не всё. Вот, рядом — еще что-то как бы случайное, но — тоже важное, дорисовывающее, достраивающее живую, подвижную, пеструю и — в чем-то ускользающе непонятную картину.

«Знаете, сегодня я, как никогда, радуюсь: читатели у нас — настоящие. Книги берут — настоящие. Жизнь они хотят — настоящую... — Нина Федоровна перебирает читательские формуляры — раскрывает их, находя подтверждения сказанному. — Да вот недавно, — она откладывает формуляры в сторону, — впервые пришел молодой человек. Очень симпатичный. Не местный. Но, видимо, поступивший на завод. То ли стеснительный, то ли скрытный... Не записываться — в зале почитать. Угадайте, что? Вашу книжку. Оказывается, ему сказали, что в ней про Валерия Сахнина написано, про его способности... Возвращая книжку и, видимо, находясь под впечатлением прочитанного, немного разговорился. Действительно, работает у нас электриком. Всё хорошо. Но слышался о Валерии, познакомился с ним и хочет к нему перейти — кем угодно. А книжка окончательно убедила, что решение его — правильное. Валерий — именно тот человек, у которого всё — настоящее. Так и сказал, понимаете?»

И об этом же — сам Валерий: «Для новой работы мне люди нужны. Много людей. Но с этим — непросто. Молодые хлопцы — подпорчены: взять — полегче, нести — поближе. Специальности — никакой, а зарплату сразу в доллары пересчитывают. Ну и, по аппетиту, выходит — мало... Хотя и неплохие есть тоже. Пару месяцев назад как-то без особого повода познакомился со мной новый электрик — грамотный парень, но такой... в чем-то неуверенный. Условился со своим мастером, что всеми моими делами электрическими будет он заниматься. Общаемся с ним по делу и так, для души. И вижу, тянет его в мою бригаду. Того и гляди — попросится. Возьму, конечно. Чувствую: он во мне вроде бы опору нашел. В заработке не выиграет, и в квалификации у нас не продвинется. А вот окрепнет душой — всё наверстает и вперед вырвется. Не первый он у меня такой. И средство проверенное: всё у нас настоящее. На том стоим».

Да, хорошо... — подумалось Евгению Степановичу, — так хорошо всё это, что... рассказал бы кто такое — поверилось бы с трудом. А то бы и вообще не поверилось. Не может такого быть. Такое — невозможно.

Но ведь он там был, он видел это своими глазами, он слушал людей, он верит каждому их слову... Тогда — чему же он не верит? Чему не может поверить?.. Заводу?

Наверное, он так и не понял самого главного.

Завод действительно такой, каким он его увидел? Каким встает он из цифр, информации, но убедительнее всего — из того, что рассказали о нем друзья — правдивые, надежные люди?

А, может быть, он такой же, как, в общем, всё вокруг, — но искусно прчет правду о себе за рекламной витриной?

— Не устали еще от моих разговоров? — приветливо, слегка повернувшись в сторону гостя, спросил Губернатор НБ.

— Да я и не прислушивался к ним... Было, о чем подумать, — отозвался Евгений Степанович.

— Всем нашим лидерам сообщил об успехе завода... То есть, и о нашем успехе, естественно, — удовлетворенно пояснил Губернатор.

— Ну, это я уловил. Я ведь худо-бедно с государственным языком освоился. Хотел вам об этом сказать... да — задумался я... отключился.

— Могли и не говорить. Я на каких-то совещаниях обратил внимание, что вы обходитесь без переводчика. К тому же телефон всё-таки не для самых серьезных разговоров.

— Так я не по телефону и задам вам серьезный вопрос, — пошутил Евгений Степанович. — Можно?

— Задавайте, — разрешил Губернатор НБ. И уточнил: — Если смогу — отвечу.

Евгений Степанович помедлил, собираясь с мыслями.

— Вот вы сказали, что сообщили об успехе завода...

— И нашем успехе — тоже, — живо вставил Губернатор.

— Да, и об этом... Так вот, об успехе... Знаете, я никак не могу отделаться от странного чувства... Ну, как не поверить тому, что видел своими глазами? Тому, о чем мне рассказали? Тому, о чем узнал, знакомясь с цехами, с людьми? Как я могу, наконец, не поверить рассказам друзей, связавших с заводом свою судьбу? То есть, как я могу не поверить тому, что всё, что я видел и узнал, — это правда?

Евгений Степанович остановился. Губернатор хотел что-то сказать. Евгений Степанович опередил его:

— Погодите, это еще не вопрос. Вот сейчас я его и задам. Итак, завод, где мы побывали, — это реальность? Ну и — уж извините — сразу же еще один, следующий вопрос: если он реален, то тогда — почему он вообще возможен? То есть, как такое может состояться и даже жить, развиваться в наше время и в наших условиях?

Губернатор засмеялся.

— Да, вопросыки, как у нас в институте говорили, — по центру... Я ведь окончил Ленинградский финансовый институт. В нем же защитил кандидатскую. Повезло остаться в Питере, повезло с карьерой. В банковской служебной иерархии поднялся на заметный уровень. Потому, собственно, меня в республику и пригласили. Причем, хотя и соблазнительное, сами понимаете, предложение, но я колебался — всё-таки Ленинград-Петербург... Россия... Это же — масштаб, огромные возможности. Но патриотизм перевесил. Я же из села, не из интеллигенции. Мне серебряную ложку с фамильной гравировкой в колыбель не положили, всего своей головой добивался. Потому и хочу помочь таким ребятам, каким был сам. Чтобы не лишили их тех возможностей, какие были у меня. А это трудно, — он усмехнулся, — в наше время и в наших условиях... Нет, это еще не ответ. Просто посчитал нужным представиться, чтобы вам было понятнее, что и почему я вам сообщаю.

Он помолчал. Хотя уже начало смеркаться, и в салоне машины стало довольно сумрачно, но Евгений Степанович со своего заднего сидения видел, как Губернатор машинально пошевелил бровью, потер лоб, прищуриваясь к чему-то, должно быть, непростому.

— Так вот, скажу сразу: завод реален, всё, что вы о нем узнали, — правда. А теперь — что и как должно было совпасть в одно время и в одном месте, чтобы эта реальность состоялась?.. Имейте в виду, я вам доверяю, как своему шоферу-односельчанину, — усмехнулся Губернатор. — Доверяю вашему опыту и осторожности. Потому что самое главное — этой реальности не повредить.

— Да, я это чувствую, — поспешно вставил Евгений Степанович.

— Так вот, руководители завода, во-первых, очень умело воспользовались тем, что он нужен и нам, и левому берегу. Очень умело выбрали они и статус народного предприятия, к акциям которого невозможно подобраться ни с какой стороны. А во-вторых, они исключительно тонко балансируют между нашим правительством и левобережным начальством: ни мы, ни лидеры Левобережья не можем обойтись с ними так,

как обходятся со всеми другими предприятиями. Никто и ничего не может им приказать, ничего не может от них потребовать. Как только что-то подобное затевает одна сторона — они тут же апеллируют к другой стороне, и, хочешь — не хочешь, нравится — не нравится, а ситуация приходится разруливать — ведь они исключительно корректно рассчитываются по всем налогам и платежам и с нами, и с левым берегом.

— Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло? — не выдержал, вставил Евгений Степанович.

— Вот именно, — согласился губернатор.

— Но тогда — какой же смекалкой, какими знаниями, какими дипломатическими талантами отличаются руководители завода! Ведь как бы благоприятно ни сложилась ситуация, далеко не каждому хватит ума ею воспользоваться! А как трудно, я думаю, не поддаваться личным симпатиям, не допустить крена в ту или другую сторону!

— Да, совершенно верно, — поддержал Губернатор. — Думаю, вам можно сказать, что... мы всю эту ситуацию держим в секрете. Ведь столько горячих голов и с той, и с другой стороны — узнают — и сразу же начнется политика... А в результате — ни та, ни другая сторона ничего не приобретут, но зато очень много потеряют.

— Прирежут, не дрогнув, курицу, несущую золотые яйца, — Евгений Степанович пожелся. — Да, это знакомо. До боли... Но, как же, оказывается, всё в этом мире непрочно!

— Не надо отчаиваться, — успокоил его Губернатор. — Это же самое время работает на завод. Он богатеет — а что еще нужно? Дает шестьдесят процентов нашей внешней торговли и восемьдесят процентов — левобережной. Имеет все шансы выйти к такой финансовой самостоятельности, когда для наших политиков станет просто недостижим. Ведь его уже начали опекать большие страны.

— Мы говорим — завод, завод... Как будто это человек. А на самом деле смогут ли люди — его руководители — привести его к этой независимости? Хватит ли у них всего, что для этого нужно, — ведь, как я понимаю, каждый следующий шаг сложнее предыдущего?

— Да, намного сложнее, — подтвердил Губернатор. — Я полагаю, они вполне могли срезаться уже на своей первой реконструкции. Если бы... — он поколебался и с гордостью сказал, — если бы мы не помогли им кадрами... Вернее — одним человеком. Сначала курировал завод. Это благодаря ему так убедительно прошли первая модернизация, полный расчет по кредитам, разумное использование прибыли. С ним же начали готовить реконструкцию прокатного цеха. Но это — проект такой сложности, что пришлось отпустить человека на завод — финансовым директором. Честно признаюсь: мы этот кадр, как говорится, с кровью отрывали. Ведь она у нас — прямо из института, из нашего, местного... Я какое-то время преподавал в Ленинградском финансовом и скажу: таких выпускников, как она, у нас там были буквально единицы. Я ее и на заграничную стажировку определил, и своей властью на ответственные участки ставил... Конечно, было сопротивление по национальному признаку, но у нее — отличное знание государственного языка, здесь родилась... Меня ведь тоже атаквали, в выражениях не стеснялись. Когда вводил жесткий курс национальной валюты, были такие — иностранным... понимаете, какой страны... шпионом меня называли. Но инфляцию — подавили, сделали доброе дело! Вот и ее, мою протеже, — мы тайком на завод отправили. А какую она сейчас пользу приносит! Хотя бы этот кредит из Германии — полностью ее заслуга. Выгодно: кредит через нас пойдет. Начальник стройки Михневич — наш человек, о наших строителях не забудет. А какая реклама и для республики, и для них там, на левом берегу. Да тут можно перечислять и перечислять...

— Извините... — Евгений Степанович поднял руку, голос у него сорвался. — Погодите...



Он перевел дыхание... Неужели?.. Догадка обжигала, подстегивала мысли... Но ведь всё сходится, всё встает на место... Может быть, с ней и Вадим?

Он заторопился, наклонился вперед:

— А как ее фамилия? Этого финансового директора?

Губернатор оглянулся внимательно и настороженно.

— А зачем вам фамилия? Я и так ввел вас в курс всех тонкостей ситуации. Надеюсь, не ошибся в вас. А фамилия... Это важно?

— Тут совсем другое... Личное... Не можете мне назвать ее — тогда я попробую сам... Только не уклоняйтесь от ответа, прошу вас. Если скажу правильно — подтвердите. Просто кивнете головой!

— Ну зачем такая конспирация, — засмеялся Губернатор. — Если вы ее знаете — значит, вам повезло еще на одного хорошего человека. И я тут ни при чем. Говорите!

У Евгения Степановича перехватило дыхание. Он подался еще вперед и, неожиданно запинаясь, тихо назвал свою фамилию. Губернатор опять оглянулся на него, нахмурился и — кивнул головой.

Евгений Степанович закрыл глаза, откинулся на спинку сидения. Глубоко, с огромным облегчением вздохнул. Не открывая глаз, проговорил:

— Вы знаете меня под псевдонимом. Но у Любы — моя фамилия. Она — моя невестка. Жена моего сына.

## 17

Хозяин «Мерседеса» проявил похвальную деликатность. Уловив не совсем понятную ему, крайнюю взволнованность Евгения Степановича, не стал его ни о чем расспрашивать, умело — то есть, очень естественно — прервал, да так и не возобновил разговор. Не вернулся он и к телефонным реляциям о своих успехах. А повозился, устраиваясь поудобнее, на своем переднем сидении и, кажется, задремал. Водитель хотел было включить приемник — потянулся к нему, но покосился на своего шефа и убрал руку.

Прежде чем надолго отвернуться к окну, Евгений Степанович еще раз взглянул на притихшего собеседника. «Наверное, пожалел, что разоткровенничался со мной» — промелькнула невольная мысль и — потонула в сонме других нахлынувших мыслей и переживаний.

Первым в этом сумбуре было желание немедленно остановить машину, выйти на дорогу и ждать кого-нибудь, кто подхватит и подвезет его назад, к сыну. Да, уже стемнело, да придется — неизвестно сколько — подождать, да, не с каждой машиной ему по пути... Но он дождетсЯ, он вернется, он встретится...

И тут его внезапным жестким холодом опахнуло сомнение. А будет ли рад Вадим этой встрече? Нужна ли она ему... сейчас? Что с того, что он взял в библиотеке книжку отца... а это он, конечно же, это был он... Но ведь он не унес ее с собой, он лишь прочел в ней то, что ему было нужно. И он ничего не рассказал о себе ни Омельяновой, ни, скорее всего, даже Валерию Сахнину... Не рассказал, не рассказывает и не расскажет — потому что он так же, как когда-то и сам Евгений Степанович, хочет оторваться от всего, что сгибало, коржило, унижало. И то, что он хочет сейчас быть рядом именно с Валерием — и не с кем больше... кроме, конечно, Любы... убедительное тому подтверждение.

И то, что он вернулся к ней, чтобы уехать с ней туда, где всё не так, как везде, где людей объединяет прекрасное воодушевление, трезвый разум и здравый смысл хозяев своей жизни — это еще одно и, наверное, самое главное, тому подтверждение.

Евгений Степанович прижался углом лба и правой щекой к темному холодному стеклу. Там, в глубокой стынувшей осенней темноте откуда-то возникали, пробегали мимо и скрывались редкие огоньки.

Значит, к встрече с отцом Вадим не стремится... Еще не стремится... Но расстояние между ними — такое обидное, такое уродливое — всё-та-

ки начинает понемногу сокращаться... Так и должно быть, так и есть. Да если бы самому Евгению Степановичу повезло в своей расхристанной молодости попасть на такой завод — наверняка бы и больница не понадобилась... Но, Господи, как тревожит то, что он — даже с огненной своей печью, со своей кипящей сталью и раскаленными докрасна стрелами проката — что он такое в этом огромном и, в сущности, беспощадно жестоком окружении? Разве не похож он на маалый росток какой-то новой жизни? Но ведь и раньше были такие ростки... и ведь обретали — и силы в самих себе, и приходили им на помощь животворное солнце и благодатные дожди, и даже люди, угадывающие их будущее назначение, находились и оберегали, и поддерживали их... Значит, и дорога к Вадиму у Евгения Степановича одна — всем, что осталось еще у него, отпущенное ему Природой, помогать той жизни, к которой потянулся сын, чтобы не утратила она всего настоящего, что заложено в ее притягательности: своей энергии, своей веры и своей правды... И тогда всё будет хорошо.

Он отстранился от темного стекла, удивленно и недоверчиво сдвинул брови.

Всё будет хорошо?.. Неужто в этом мире что-нибудь, где-нибудь может быть хорошо — не на миг, не на краткое ненадежное время, а надолго? То есть — прочно, уверенно, неуступчиво, победно, перешагивая препятствия сроков и возраста?

Евгений Степанович снова припал к темному стеклу.

Да, вокруг темно, — думал он, — так темно, что кажется — рассвета уже и не дожидаться. Но ведь он будет, этот рассвет... Он будет, потому что когда кругом была только одна, казавшаяся вечной, ночь, кто-то молился, чтобы наступил рассвет... и он наступил... И наступает снова и снова. И наступает всегда.

Вот так и мы... Вот так и мне... Мне надо молиться, чтобы всё было хорошо. Мне надо делать, что должен, и верить, и молиться. Самыми простыми словами. Самыми простыми.

Господи пусть всё будет хорошо!

Пусть всё будет хорошо, Господи!

---

## Стихотворение в номер

Леонид  
ЧИГИН

\* \* \*

Нижний  
Новгород

*Зажигаю свет на маяке*

*И не сплю....*

*С бутылкою в руке*

*Словно Бог один, во всей Вселенной:*

*Свет и мрак делю попеременно*

*Сушу... Воды*

*Отделяю тоже,*

*Я Всесилен!!!*

*– Дайте мне по роже!*

*– Дайте мне по наглой пьяной хारे...*

*Что с того, что вы со мною в паре?*

*Что с того, что схожи мы глазами,*

*Что с того, что сплюснуты мы там же.*

*Что обужены, обкромсаны без цели...*

*– Мы два листика на голой мокрой Еве,*

*Ни тепло, ни холодно, – не стыдно!*

*Я усну – уснёшь и Ты и нам не видно*

*Как там тонут Овцы... Люди... Вина...*

*В сладострастном сладостном незнатье*

*Откупорим души покаяньем...*

13 мая 2020 г.